

И.В.Киреевский
П.В.Киреевский

16+

Собрание сочинений

В 3-х т. Т. 2

И. В. Киреевский

Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2

«ЛитРес: Самиздат»

2021

Киреевский И. В.

Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2 / И. В. Киреевский — «ЛитРес: Самиздат», 2021

ISBN 978-5-532-98719-7

Литературно-критические статьи, художественные произведения и собрание русских народных духовных стихов Ивана и Петра Киреевских — двух выдающихся деятелей русской культуры первой половины XIX века. И. В. Киреевский (1806—1856) положил начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточно-христианской аскетики. П. В. Киреевский (1808—1856) прославился как фольклорист и собиратель русских народных песен. Издание подготовлено доктором философских наук, профессором А. Ф. Малышевским.

ISBN 978-5-532-98719-7

© Киреевский И. В., 2021

© ЛитРес: Самиздат, 2021

Содержание

Часть I. Литературно-критические статьи и художественные произведения И. В. Киреевского	5
Глава I. Литературно-критические статьи	5
§ 1. Нечто о характере поэзии Пушкина[1]	5
§ 2. Нечто о переводе «Манфреда» (Отрывок из письма к издателю)[16]	12
§ 3. Обзорение русской словесности за 1829 год[20]	13
§ 4. Обзорение русской словесности за 1831 год[85]	29
§ 5. Несколько слов о слоге Вильмена[106]	39
§ 6. «Горе от ума» – на Московском театре[108]	40
§ 7. Русские альманахи на 1832 год[113]	43
§ 8. О русских писательницах. Письмо к Анне Петровне Зонтаг[121]	45
§ 9. О стихотворениях г. Языкова[144]	51
§ 10. Обзорение современного состояния литературы[156]	58
Конец ознакомительного фрагмента.	67

И. Киреевский, П. Киреевский

Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2

Часть I. Литературно-критические статьи и художественные произведения И. В. Киреевского

Глава I. Литературно-критические статьи

§ 1. Нечто о характере поэзии Пушкина¹

Отдавать себе отчет в том наслаждении, которое доставляют нам произведения изящные, – есть необходимая потребность и вместе одно из высочайших удовольствий образованного ума. Отчего же до сих пор так мало говорят о Пушкине? Отчего лучшие его произведения остаются неразобранными², а вместо разборов и суждений слышим мы одни пустые восклицания: «Пушкин поэт! Пушкин истинный поэт! “Онегин” – поэма превосходная! “Цыганы” – мастерское произведение!» и т. д.? Отчего никто до сих пор не предпринял <попытки> определить характер его поэзии вообще, оценить ее красоты и недостатки, показать место, которое поэт наш успел занять между первоклассными поэтами своего времени? Такое молчание тем непонятнее, что здесь публику всего менее можно упрекнуть в равнодушии. – Но, скажут мне, может быть, кто имеет право говорить о Пушкине?

Там, где просвещенная публика нашла себе законных представителей в литературе, там не многие, законодательствуя общим мнением, имеют власть произносить окончательные приговоры необыкновенным явлениям словесного мира. Но у нас ничей голос не лишней; мнение каждого, если оно составлено по совести и основано на чистом убеждении, имеет право на всеобщее внимание. Скажу более: в наше время каждый мыслящий человек не только может, но еще обязан выражать свой образ мыслей перед лицом публики, если, впрочем, не препятствуют тому посторонние обстоятельства; ибо только общим содействием может у нас составиться то, чего так давно желают все люди благомыслящие, чего до сих пор, однако же, мы еще не имеем и что, быв результатом, служит вместе и условием народной образованности, а следовательно, и народного благосостояния: я говорю об общем мнении. К тому же все сказанное перед публикою полезно уже потому, что сказано: справедливое – как справедливое; несправедливое – как вызов на возражения.

Но говоря о Пушкине, трудно высказать свое мнение решительно; трудно привести к единству все разнообразие его произведений и приискать общее выражение для характера его поэзии, принимавшей столько различных видов. Ибо, выключая красоту и оригинальность стихотворного языка, какие следы общего происхождения находим мы в «Руслане и Людмиле», в «Кавказском пленнике», в «Онегине», в «Цыганах» и т. д.? Не только каждая из сих поэм отличается особенностью хода и образа изложения (*la manière*), но еще некоторые из них различаются и самым характером поэзии, отражая различное воззрение поэта на вещи, так что

¹ Написано в 1828 г. Первая публикация: Московский вестник. 1828. Ч. 8. № 6. С. 171–196. – *Сост.*

² Все, что в «Сыне отечества», «Дамском журнале», «Вестнике Европы» и «Московском телеграфе» было сказано до сих пор о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Онегине», ограничивалось простым извещением о выходе упомянутых поэм или имело главным предметом своим что-либо постороннее, как, например, романтическую поэзию и т. п.; но собственно разборов поэм Пушкина мы еще не имеем. – *И. К.*

в переводе их легко можно бы было почесть произведениями не одного, но многих авторов. Эта легкая шутка, дитя веселости и остроумия, которая в «Руслане и Людмиле» одевает все предметы в краски блестящие и светлые, уже не встречается больше в других произведениях нашего поэта; ее место в «Онегине» заступила уничтожающая насмешка, отголосок сердечного скептицизма, и добродушная веселость сменилась здесь на мрачную холодность, которая на все предметы смотрит сквозь темную завесу сомнений, свои наблюдения передает в карикатуре и созидает как бы для того только, чтобы через минуту насладиться разрушением созданного. В «Кавказском пленнике», напротив того, не находим мы ни той доверчивости к судьбе, которая одушевляет Руслана, ни того презрения к человеку, которое замечаем в Онегине. Здесь видим душу, огорченную изменами и утратами, но еще не изменившую самой себе, еще не утратившую свежести прежних чувствований, еще верную заветному влечению, – душу, растерзанную судьбой, но не побежденную: исход борьбы еще зависит от будущего. В поэме «Цыганы» характер поэзии также совершенно особенный, отличный от других поэм Пушкина. То же можно сказать почти про каждое из важнейших его творений.

Но, рассматривая внимательно произведения Пушкина, от «Руслана и Людмилы» до пятой главы «Онегина»³, находим мы, что при всех изменениях своего направления, поэзия его имела три периода развития, резко отличающихся один от другого. Постараемся определить особенность и содержание каждого из них и тогда уже выведем полное заключение о поэзии Пушкина вообще.

Если по характеру, тону и отделке, сродным духу искусственных произведений различных наций, стихотворство, как живопись, можно делить на школы, то первый период поэзии Пушкина, заключающий в себе «Руслана» и некоторые из мелких стихотворений, назвал бы я *периодом школы итальянско-французской*. Сладость Парни, непринужденное и легкое остроумие, нежность, чистота отделки, свойственные характеру французской поэзии вообще, соединились здесь с роскошью, с избытком жизни и свободой Ариоста. Но остановимся несколько времени на том произведении нашего поэта, которым совершилось первое знакомство русской публики с ее любимцем.

Если в своих последующих творениях почти во все создания своей фантазии вплетает Пушкин индивидуальность своего характера и образа мыслей, то здесь является он чисто *творцом-поэтом*. Он не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека; но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый мир, населяя его существами новыми, отличными, принадлежащими исключительно его творческому воображению. Оттого ни одна из его поэм не имеет той полноты и оконченности, какую замечаем в «Руслане». Оттого каждая песнь, каждая сцена, каждое отступление живет самобытно и полно; оттого каждая часть так необходимо вплетается в состав целого создания, что нельзя ничего прибавить или выбросить, не разрушив совершенно его гармонии. Оттого Черномор, Наина, Голова, Финн, Рогдай, Фарлаф, Ратмир, Людмила – словом, каждое из лиц, действующих в поэме (выключая, может быть, одного – самого героя поэмы), получило характер особенный, резко образованный и вместе глубокий. Оттого, наблюдая ответственность частей к целому, автор тщательно избегает всего патетического, могущего сильно потрясти душу читателя, ибо сильное чувство несовместно с охотою к чудесно-комическому и уживается только с величественно-чудесным. Одно очаровательное может завлечь нас в царство волшебств; и если посреди пленительной невозможности что-нибудь тронет нас не на шутку, заставляя обратиться к самим себе, то прости тогда вера в невероятное! Чудесное, призраки разлетятся в ничто, и целый мир небывалого рухнет, исчезнет, как прерывается пестрое сновидение, когда что-нибудь в его созданиях напомнит нам о действительности. Рассказ Финна, имея другой конец,

³ Пятая глава «Евгения Онегина» вышла в свет вместе с четвертой 31 января 1828 г. Последующие главы романа в стихах А. С. Пушкина ко времени написания данной статьи не были известны И. В. Киреевскому. – *Сост.*

уничтожил бы действие целой поэмы: как в Виландовом «Обероне»⁴ один, – впрочем, один из лучших отрывков его, – описание несчастий главного героя, слишком сильно потрясая душу, разрушает очарование целого и, таким образом, отнимает у него главное его достоинство. Но неожиданность развязки, безобразие старой колдуньи и смешное положение Финна разом превращают в карикатуру всю прежнюю картину несчастной любви и так мастерски связывают эпизод с тоном целой поэмы, что он уже делается одною из ее необходимых составных частей. Вообще можно сказать про «Руслана и Людмилу», что если строгая критика и найдет в ней иное слабым, невыдержанным, то, конечно, не сыщет ничего лишнего, ничего неуместного. Рыцарство, любовь, чародейство, пиры, война, русалки – все стихии волшебного мира сошлись здесь в одно создание, и, несмотря на пестроту частей, в нем все стройно, согласно, *цело*. Самые приступы к песням, занятые у певца Иоанны⁵, сохраняя везде один тон, набрасывают и на все творение один общий оттенок веселости и остроумия.

Заметим, между прочим, что та из поэм Пушкина, в которой всего менее встречаем мы сильные потрясения и глубокость чувствований, есть, однако же, самое совершенное из всех его произведений по соразмерности частей, по гармонии и полноте изобретения, по богатству содержания, по стройности переходов, по непрерывности господствующего тона и, наконец, по верности, разнообразию и оригинальности характеров. Напротив того, «Кавказский пленник», менее всех остальных поэм удовлетворяющий справедливым требованиям искусства, несмотря на то, богаче всех силою и глубиной чувствований.

«Кавказским пленником» начинается *второй период пушкинской поэзии*, который можно назвать *отголоском лиры Байрона*.

Если в «Руслане и Людмиле» Пушкин был исключительно *поэтом*, передавая верно и чисто внушения своей фантазии, то теперь является он *поэтом-философом*, который в самой поэзии хочет выразить сомнения своего разума, который всем предметам дает общие краски своего особенного воззрения и часто отвлекается от предметов, чтобы жить в области мышления. Уже не волшебников с их чудесами, не героев непобедимых, не очарованные сады представляет он в «Кавказском пленнике», «Онегине» и проч. – жизнь действительная и человек нашего времени с их пустотою, ничтожностью и прозою делаются предметом его песен. Но он не ищет, подобно Гете, возвысить предмет свой, открывая поэзию в жизни обыкновенной, а в человеке нашего времени – полный отзыв всего человечества; а, подобно Байрону, он в целом мире видит одно противоречие, одну обманутую надежду, и почти каждому из его героев можно придать название *разочарованного*.

Не только своим воззрением на жизнь и человека совпадает Пушкин с певцом Гяура; он сходствует с ним и в остальных частях своей поэзии: тот же способ изложения, тот же тон, та же форма поэм, такая же неопределенность в целом и подробная отчетливость в частях, такое же расположение и даже характеры лиц по большей части столь сходные, что с первого взгляда их почтешь за чужеземцев-эмигрантов, переселившихся из Байронова мира в творения Пушкина.

Однако же, несмотря на такое сходство с британским поэтом, мы находим в «Онегине», в «Цыганах», в «Кавказском пленнике» и проч. столько красот самобытных, принадлежащих исключительно нашему поэту, такую неподдельную свежесть чувств, такую верность описаний, такую тонкость в замечаниях и естественность в ходе, такую оригинальность в языке и, наконец, столько национального, чисто русского, что даже в этом периоде его поэзии нельзя назвать его простым подражателем. Нельзя однако же допустить и того, что Пушкин случайно совпадает с Байроном; что, воспитанные одним веком и, может быть, одинаковыми обстоятельствами, они должны были сойтись и в образе мыслей, и в духе поэзии, а следовательно, и в самых формах ее; ибо у истинных поэтов формы произведений не бывают случайными, но так

⁴ «Оберон» (1780) – фантастическая поэма К. М. Виланда. – *Сост.*

⁵ Имеется в виду Вольтер, написавший поэму о Жанне (Иоанне) д'Арк – «Орлеанская девственница». – *Сост.*

же слиты с духом целого, как тело с душою в произведениях Творца. Нельзя, говорю я, допустить сего мнения потому, что Пушкин там даже, где он всего более приближается к Байрону, все еще сохраняет столько своего особенного, обнаруживающего природное его направление, что для вникавших в дух обоих поэтов очевидно, что Пушкин не случайно встретился с Байроном, но заимствовал у него, или, лучше сказать, невольно подчинился его влиянию. Лирика Байрона должна была отозваться в своем веке, быв сама голосом своего века. Одно из двух противоположных направлений нашего времени достигло в ней своего выражения. Мудрено ли, что и для Пушкина она звучала недаром? Хотя, может быть, он уже слишком много уступил ее влиянию и – сохранив более оригинальности, по крайней мере в наружной форме своих поэм, – придал бы им еще большее достоинство.

Такое влияние обнаружилось прежде всего в «Кавказском пленнике». Здесь особенно видны те черты сходства с Байроном, которые мы выше заметили; но расположение поэмы доказывает, что она была первым опытом Пушкина в произведениях такого рода, ибо все описания черкесов, их образа жизни, обычаев, игр и т. д., которыми наполнена первая песнь, бесполезно останавливают действие, разрывают нить интереса и не вяжутся с тоном целой поэмы. Поэма вообще, кажется, имеет не одно, но два содержания, которые не слиты вместе, но являются каждое отдельно, развлекая внимание и чувства на две различные стороны. Зато – какими достоинствами выкупается этот важный недостаток! Какая поэзия разлита на все сцены! Какая свежесть, какая сила чувств! Какая верность в живых описаниях! Ни одно из произведений Пушкина не представляет столько недостатков и столько красот.

Такое же или, может быть, еще большее сходство с Байроном является в «Бахчисарайском фонтане», но здесь искуснейшее исполнение доказывает уже большую зрелость поэта. Жизнь гаремская так же относится к содержанию «Бахчисарайского фонтана», как черкесский быт к содержанию «Кавказского пленника»: оба составляют основу картины, и, несмотря на то, как различно, их значение! Все, что происходит между Гиреем, Мариєю и Зарею, так тесно соединено с окружающими предметами, что всю повесть можно назвать одною сценою из жизни гарема. Все отступления и перерывы связаны между собой одним общим чувством, все стремится к произведению одного, главного впечатления. Вообще, видимый беспорядок изложения есть неотменная принадлежность байроновского рода, но этот беспорядок есть только мнимый, и нестройное представление предметов отражается в душе стройным переходом ощущений. Чтобы понять такого рода гармонию, надобно прислушиваться к внутренней музыке чувствований, рождающейся из впечатлений от описываемых предметов, между тем как самые предметы служат здесь только орудием, клавишами, ударяющими в струны сердца.

Эта душевная мелодия составляет главное достоинство «Бахчисарайского фонтана». Как естественно, гармонически восточная нега, восточное сладострастие слились здесь с самыми сильными порывами южных страстей! В противоположности роскошного описания гарема с мрачностью главного происшествия виден творец «Руслана», из бессмертного мира очарованный спустившийся на землю, где среди разногласия страстей и несчастий он еще не позабыл чувства упоительного сладострастия. Его поэзию в «Бахчисарайском фонтане» можно сравнить с восточною перью, которая, утратив рай, еще сохранила красоту неземную; ее вид задумчив и мрачен, сквозь притворную холодность заметно сильное волнение души, она быстро и неслышно, как дух, как Зарема, пролетает мимо нас, одетая густым облаком, и мы пленяемся тем, что видели, а еще более тем, чем настроенное воображение невольно дополняет незримое. Тон всей поэмы более всех других приближается к байроновскому.

Зато далее всех отстоит от Байрона поэма «Разбойники»⁶, несмотря на то что содержание, сцены, описания – все в ней можно назвать сколком с «Шильонского узника». Она больше карикатура Байрона, нежели подражание ему. Боннивар страдает для того, чтобы

⁶ Поэма А. С. Пушкина «Братья разбойники». – *Сост.*

Спасти души своей любовь⁷;

и как ни жестоки его мучения, но в них есть какая-то поэзия, которая принуждает нас к участию; между тем как подробное описание страданий пойманных разбойников поселяет в душе одно отвращение, чувство, подобное тому, какое произвел бы вид мучения преступника, осужденного к заслуженной казни. Можно решительно сказать, что в этой поэме нет ничего поэтического, выключая вступления и красоту стихов, везде и всегда свойственную Пушкину.

Сия красота стихов всего более видна в «Цыганах», где мастерство стихосложения достигло высшей степени своего совершенства и где искусство приняло вид свободной небрежности. Здесь каждый звук, кажется, непринужденно вылился из души, и, несмотря на то, каждый стих получил последнюю отработку, за исключением, может быть, двух или трех из целой поэмы: все чисто, округлено и вольно.

Но соответствует ли содержание поэмы достоинству ее отделки? Мы видим народ кочующий, полудикий, который не знает законов, презирает роскошь и просвещение и любит свободу более всего; но народ сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному обществу: воспоминание прежней любви и тоска по изменившей Мариуле наполняют всю жизнь старого цыгана. Но зная любовь исключительную, вечную, цыганы не знают ревности, им непонятны чувства Алеко. Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии, и внутреннее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счастливой неспорченности совершенства природного. Такая мысль могла бы иметь высокое поэтическое достоинство. Но здесь, к несчастью, прекрасный пол разрушает все очарование, и между тем как бедные цыганы любят *горестно и трудно*, их жены, как *вольная луна, на всю природу мимоходом изливают равное сиянье*⁸. Совместно ли такое несовершенство женщин с таким совершенством народа? Либо цыганы не знают вечной, исключительной привязанности, либо они ревнуют непостоянных жен своих, и тогда месть и другие страсти также должны быть им не чужды; тогда Алеко не может уже казаться им странным и непонятным; тогда весь быт европейцев отличается от них только выгодами образованности; тогда, вместо золотого века, они представляют просто полудикий народ, несвязанный законами, бедный, несчастный, как действительные цыганы Бессарабии; тогда вся поэма противоречит самой себе.

Но, может быть, мы не должны судить о цыганах вообще по одному отцу Земфиры; может быть, его характер не есть характер его народа. Но если он существо необыкновенное, которое всегда и при всяких обстоятельствах образовалось бы одинаково и, следовательно, всегда составляет исключение из своего народа, то цель поэта все еще остается неразгаданною. Ибо, описывая цыган, выбрать из среды их именно того, который противоречит их общему характеру, и его одного представить пред читателем, оставляя других в неясном отдалении, – то же, что, описывая характер человека, приводить в пример именно те из его действий, которые находятся в разногласии с описанием.

Впрочем, характер Алеко, эпизоды и все части, отдельно взятые, так богаты поэтическими красотами, что если бы можно было, прочтя поэму, позабыть ее содержание и сохранить в душе память одного наслаждения, доставленного ею, то ее можно бы было назвать одним из лучших произведений Пушкина. Но в том-то и заключается отличие чувства изящного от простого удовольствия, что оно действует на нас еще больше в последующие минуты воспо-

⁷ Цитата из поэмы Байрона «Шильонский узник» (перевод В. А. Жуковского). Стрф. 1. – *Сост.*

⁸ Цитаты из поэмы «Цыганы»; вторая цитата неточная, у Пушкина: «... Гуляет вольная луна; на всю природу мимоходом равно сиянье льет она». – *Сост.*

минания и отчета, нежели в самую минуту первого наслаждения. Создания, истинно поэтические, *живут* в нашем воображении; мы забываемся в них, развиваем неразвитое, рассказываем недосказанное и, переселяясь таким образом в новый мир, созданный поэтом, живем просторнее, полнее и счастливее, нежели в старом действительном. Так и цыганский быт завлекает сначала нашу мечту, но при первом покушении присвоить его нашему воображению разлетается в ничто, как туманы Ледовитого моря, которые, принимая вид твердой земли, заманивают к себе любопытного путешественника и при его же глазах, разогретые лучами солнца, улетают на небеса.

Но есть качество в цыганах, которое вознаграждает нас некоторым образом за нестройность содержания. Качество сие есть большая самобытность поэта. Справедливо сказал автор⁹ «Обозрения словесности за 1827 год»¹⁰, что в сей поэме заметна какая-то борьба между идеальностью Байрона и живописною народностью поэта русского. В самом деле: возьмите описания цыганской жизни отдельно; смотрите на отца Земфиры не как на цыгана, но просто как на старика, не заботясь о том, к какому народу он принадлежит; вникните в эпизод об Овидии – и полнота созданий, развитая до подробностей, одушевленная поэзией оригинальною, докажет вам, что Пушкин уже почувствовал силу дарования самостоятельного, свободного от посторонних влияний.

Все недостатки в «Цыганах» зависят от противоречия двух разногласных стремлений: одного самобытного, другого байронического; посему самое несовершенство поэмы есть для нас залог усовершенствования поэта.

Еще более стремление к самобытному роду поэзии обнаруживается в «Онегине», хотя не в первых главах его, где влияние Байрона очевидно; не в образе изложения, который принадлежит «Дон-Жуану» и «Беппо», и не в характере самого Онегина, однородном с характером Чайльд-Гарольда¹¹. Но чем более поэт отдаляется от главного героя и забывается в посторонних описаниях, тем он самобытнее и национальнее.

Время Чайльд-Гарольдов, слава Богу, еще не настало для нашего отечества: молодая Россия не участвовала в жизни западных государств, и народ, как человек, не стареется чужими опытами. Блестящее поприще открыто еще для русской деятельности; все роды искусств, все отрасли познаний еще остаются неусвоенными нашим отечеством; нам дано еще надеяться – что же делать у нас разочарованному Чайльд-Гарольду?

Посмотришь, какие качества сохранил и утратил цвет Британии, быв пересажен на русскую почву.

Любимая мечта британского поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бедность, но преизбыток внутренних сил делает его холодным к окружающему миру. Бессмертная мысль живет в его сердце и день и ночь, поглощает в себя все бытие его и отравляет все наслаждения. Но в каком бы виде она ни являлась, – как гордое презрение к человечеству, или как мучительное раскаяние, или как мрачная безнадежность, или как неутолимая жажда забвения, – эта мысль всеобъемлющая, вечная, – что она, если не невольное, постоянное стремление к лучшему, тоска по недостижимому совершенству? Нет ничего общего между Чайльд-Гарольдом и толпою людей обыкновенных: его страдания, его мечты, его наслаждения, непонятны для других; только высокие горы да голые утесы говорят ему ответные тайны, ему одному слышные. Но потому именно, что он отличен от обыкновенных людей, может он отражать в себе дух своего времени и служить границею с будущим, ибо *только разногласие связует два различные созвучья*.

⁹ С. П. Шевырев. – *Сост.*

¹⁰ См.: Московский вестник. 1828. № 1. — *И. К.*

¹¹ Герой поэмы Байрона «Поломничество Чайльд-Гарольда» (1812–1818). – *Сост.*

Напротив того, Онегин есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Он также равнодушен ко всему окружающему, но не ожесточение, а неспособность любить сделали его холодным. Его молодость также прошла в вихре забав и рассеяния, но он не завлечен был кипением страстной, ненасытной души, но на паркете провел пустую, холодную жизнь модного франта. Он также бросил свет и людей, но не для того, чтобы в уединении найти простор взволнованным думам, но для того, что ему было равно скучно везде,

... что он равно зевал
Средь модных и старинных зал¹².

Он не живет внутри себя жизнью особенною, <отличною> от жизни других людей, и презирает человечество потому только, что не умеет уважать его. Нет ничего обыкновеннее такого рода людей, и всего меньше поэзии в таком характере.

Чайльд-Гарольд в нашем отечестве – и честь поэту, что он представил нам не настоящего, ибо, как мы уже сказали, это время еще не пришло для России, и дай Бог, чтобы никогда не приходило.

Сам Пушкин, кажется, чувствовал пустоту своего героя и потому нигде не старался коротко познакомить с ним своих читателей. Он не дал ему определенной физиогномии, и не одного человека, но целый класс людей представил он в его портрете: тысяче различных характеров может принадлежать описание Онегина.

Эта пустота главного героя была, может быть, одною из причин пустоты содержания первых пяти глав романа, но форма повествования, вероятно, также к тому содействовала. Те, которые оправдывают ее, ссылаясь на Байрона, забывают, в каком отношении находится форма «Беппо» и «Дон-Жуана» к их содержанию и характерам главных героев.

Что касается до поэмы «Онегин» вообще, то мы не имеем права судить по началу о сюжете дела, хотя с трудом можем представить себе возможность чего-либо стройного, полного и богатого в замысле при таком начале. Впрочем, кто может разгадать границы возможного для поэтов, каков Пушкин? – им суждено всегда удивлять своих критиков.

Недостатки «Онегина» суть, кажется, последняя дань Пушкина британскому поэту. Но все неисчислимы красоты поэмы – Ленский, Татьяна, Ольга, Петербург, деревня, сон, зима, письмо и пр. – суть неотъемлемая собственность нашего поэта. Здесь-то обнаружит он ясно природное направление своего гения; и эти следы самобытного созидания в «Цыганах» и «Онегине», соединенные с известною сценою из «Бориса Годунова»¹³¹⁴, составляют, не истощая, третий период развития его поэзии, который можно назвать *периодом поэзии русско-пушкинской*. Отличительные черты его суть живописность, какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чувство, которым дышат мелодии русских песен, к которому чаще всего возвращается русский народ и которое можно назвать центром его сердечной жизни?

В этом периоде развития поэзии Пушкина особенно заметна способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте. Та же способность есть основание русского характера: она служит началом всех добродетелей и недостатков русского народа; из нее происходит смелость, беспечность, неукротимость минутных желаний, великодушные, неумеренность, запальчивость, понятливость, добродушие и пр.

¹² Цитата из «Евгения Онегина». Гл. 2. Стрф. 2. – *Сост.*

¹³ Имеется в виду сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», напечатанная в «Московском вестнике» (1827. Ч. 1. № 1). – *Сост.*

¹⁴ Мы не говорим о мелких сочинениях Пушкина, которые обнаруживают также три периода развития его поэзии. – *И. К.*

Не нужно, кажется, высчитывать всех красот «Онегина», анатомировать характеры, положения и вводные описания, чтобы доказать превосходство последних произведений Пушкина над прежними. Есть вещи, которые можно чувствовать, но нельзя доказать иначе, как написавши несколько томов комментариев на каждую страницу. Характер Татьяны есть одно из лучших созданий нашего поэта; мы не будем говорить об нем, ибо он сам себя выказывает вполне.

Для чего хвалить прекрасное не так же легко, как находить недостатки? С каким бы восторгом высказали мы всю несравненность тех наслаждений, которыми мы одолжены поэту и которые, как самоцветные камни в простом ожерелье, блестят в однообразной нити жизни русского народа!

В упомянутой сцене из «Бориса Годунова» особенно обнаруживается зрелость Пушкина. Искусство, с которым представлен, в столь тесной раме, характер века, монашеская жизнь, характер Пимена, положение дел и начало завязки; чувство особенное, трагически спокойное, которое внушает нам жизнь и присутствие летописца; новый и разительный способ, посредством которого поэт знакомит нас с Гришкой; наконец, язык неподражаемый, поэтический, верный, – все это вместе заставляет нас ожидать от трагедии, скажем смело, чего-то *великого*.

Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен¹⁵, чтобы быть лириком; в каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика.

Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестанное усовершенствование, но еще утешительнее видеть сильное влияние, которое поэт имеет на своих соотечественников. Не многим, избранным судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться их любовью. Пушкин принадлежит к их числу, и это открывает нам еще одно важное качество в характере его поэзии: *соответственность с своим временем*.

Мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты – словом, жить его жизнью и выражать его невольно, выражая себя. Пусть случай такое счастье, но не так же ли мало зависят от нас красота, ум, прозорливость, все те качества, которыми человек пленяет человека? И ужели качества сии существеннее достоинства отражать в себе жизнь своего народа?

§ 2. Нечто о переводе «Манфреда» (Отрывок из письма к издателю)¹⁶

Ты хочешь печатать «Манфреда»¹⁷, перевод покойного Д. А. О.¹⁸ Стихи в нем по большей части хороши и сильны, а потому он будет, конечно, не лишней в твоём журнале. Но несмотря на то, мне бы не хотелось, чтобы он был напечатан. О. был человек необыкновенный во всех отношениях; тетради, которые он оставил после себя и которые, может быть, дойдут когда-нибудь до сведения публики, докажут глубину и силу его ума и ясность его фантазии. До сих

¹⁵ Мы принуждены употреблять это выражение, покуда не имеем однозначительного на нашем языке. – *И. К.*

¹⁶ Первая публикация: Московский вестник. 1828. Ч. 8. № 7. С. 352–354. Адресовано издателю журнала М. П. Погодину, который опубликовал перевод «Манфреда» в том же номере «Московского вестника» (с. 241–289), а к тексту И. В. Киреевского добавил следующее примечание: «Я получил это письмо по напечатании “Манфреда”. Впрочем, приняв в уважение изложенные здесь причины, я думаю, что эта пьеса получает теперь новую занимательность в глазах публики, и очень рад, что мог напечатать ее». О том, что заметка не часть письма Киреевского, а предназначенный для печати текст свидетельствует стиль и та же подпись (9. 11. – цифровое обозначение инициалов И. К.), что и под статьей «Нечто о характере поэзии Пушкина». – *Сост.*

¹⁷ Перевод поэмы Дж. Байрона «Манфред». – *Сост.*

¹⁸ Речь идет о Дмитрие Александровиче Облеухове. – *Сост.*

пор он был известен только своим переводом Баттё¹⁹, который, говорят, хорош; – я не читал его. Но когда он вышел, переводчику не было еще 16 лет. С тех пор почти до самого конца своей жизни (он умер 37-ми лет, в конце прошлого 1827 года) О. занимался исключительно и постоянно науками умозрительными. Математика, метафизика и теория языков разделяли почти все его время. Два года тому назад ему случайно попался Байрон, которого он прежде не знал. Прочсть «Манфреда», перевести его, выправить и переписать – для этого, не оставляя обыкновенных своих занятий, употребил О. менее двух недель, не занимавшись стихами уже более двадцати лет. Переводя единственно из удовольствия переводить, он во многом отступал от подлинника, многое выпустил, иное изменил, так что его «Манфреда» можно скорее назвать подражанием Байрону, нежели переводом. Такую неверность многие назовут недостатком, и они будут правы. Вот почему мне бы не хотелось, чтобы ты печатал эту пиесу. Из нее публика узнает О. только как переводчика, который, хотя выше посредственных, но далеко не отличный, между тем как он – повторяю тебе – был человек во всех отношениях необыкновенный, и для тех, которые знали его и обстоятельства, сопровождавшие перевод, самый «Манфред» был новым доказательством силы и гибкости его дарований.

§ 3. Обзорение русской словесности за 1829 год²⁰

Прежде нежели мы приступим к обзорению словесности прошедшего года, я прошу просвещенных читателей обратить внимание на сочинение, которое хотя вышло ранее 29 года, но имело влияние на его текущую словесность; которое должно иметь еще большее действие на будущую жизнь нашей литературы; которое успешнее всех других произведений русского пера должно очистить нам дорогу к просвещению европейскому; которым мы можем гордиться перед всеми государствами, где только выходят сочинения такого рода; которого издание (выключая, может быть, учреждение ланкастерских школ) было самым важным событием для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Ара-ратом, важнее взятия Эрзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские. Эта книга – читатель уже назвал *Ценсурный устав*²¹.

Влияние его на текущую словесность прошедшего года, хотя мало приметное, было тем не менее действительно. Наши журналы заимствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по большей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно приближалась более к жизни общеевропейской. Самые перебранки наших журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости негородские – все это было похоже на нестройные движения распеленатого ребенка, движения, необходимые для развития силы, для будущей красоты и здоровья.

Но, чтобы вернее определить особенность нашей литературы прошедшего года, открыть в ней признаки господствующего направления нашей словесности вообще и ее отношение к целостному просвещению Европы, бросим беглый взгляд на характер всей литературы нашей девятнадцатого столетия, ибо одно прошедшее дает цену и указывает место настоящему, определяя дорогу для будущего.

¹⁹ Д. А. Облеухов выполнил перевод с французского языка фундаментального учебного курса аббата Шарля Баттё «Начальные правила словесности» (М, 1806–1807. Т. 1–4). За эту работу Облеухов был удостоен (апрель 1807) бриллиантового перстня от императора Александра I и степени магистра словесных наук (ноябрь 1807). – *Сост.*

²⁰ Написано в 1830 г. Первая публикация: Денница. 1830. С. 9–84. – *Сост.*

²¹ Ценсурный устав 1828 г., сравнительно с уставом 1826 (*цигурийным*), был менее жестким. Этим уставом не допускалось предвзятое отношение цензора к литературному произведению, произвольное толкование его в неблагоприятном для автора смысле, придирки к словам и выражениям. Вместе с тем по-прежнему запрещались суждения о современной деятельности правительства. – *Сост.*

Литературу нашу девятнадцатого столетия можно разделить на три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но связанные единством их развития. Характер первой эпохи определяется влиянием Карамзина, средоточием второй была муза Жуковского, Пушкин может быть представителем третьей.

Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении представляет резкую противоположность с концом восемнадцатого. В течение немногих лет просвещение сделало столь быстрые успехи, что с первого взгляда они являются невероятными. Кажется, кто-то разбудил полусонную Россию. Из ленивого равнодушия она вдруг переходит к жажде образования, ищет учения, книг, стыдится своего прежнего невежества и спешит породниться с иноземными мнениями. Когда явился Карамзин, уже читатели для него были готовы, а его удивительные успехи доказывают не столько силу его дарований, сколько повсюду распространившуюся любовь к просвещению.

Но остановимся здесь и подивимся странностям судьбы человеческой. Тот, кому просвещение наше обязано столь быстрыми успехами, кто подвинул на полвека образованность нашего народа, кто всю жизнь употребил во благо отечества и уже видел плоды своего влияния на всех концах русского царства, человек, которому Россия обязана стольким, – он умер недавно, почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свидетельницей и средоточием его блестящей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части наших современников; и если бы Карамзин не говорил о нем²², то, может быть, многие, читая эту статью, в первый раз услышали бы о делах Новикова и его товарищей и усомнились бы в достоверности столь близких к нам событий. Память о нем почти исчезла; участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих уже нет, но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно приносит плоды и ищет благодарности потомства.

Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько лет их было уже 20, и книг продавалось на 200 тысяч. Кроме того, Новиков завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России, распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важными, заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял участников своей деятельности, и скоро не только вся Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя ненадолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: рождение *общего мнения*²³.

Так действовал типографщик Новиков. Замечательно, что почти в то же время другой типографщик, более славный, более счастливый, типографщик Франклин, действовал почти таким же образом на противоположном конце земного шара, но последствия их деятельности были столь же различны, сколько Россия отлична от Соединенных Штатов.

Может быть, сам Карамзин обязан своею первою образованностью Новикову и его друзьям-единомышленникам. По крайней мере, в их кругу началось первое развитие его блестящих дарований, и он оставил нам трогательное описание своей дружбы с одним из них, с г-м П²⁴. Говорить ли о другом товарище Новикова, об этом славном Ленце²⁵, о надежде и удивлении просвещенной Европы, который у нас, в нищете и крайности, замерз на большой дороге²⁶!

²² О деятельности Н. И. Новикова Н. М. Карамзин писал в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России». – *Сост.*

²³ Речь идет об общественном мнении, которое И. В. Киреевский считал важнейшим показателем *образованности* нации, залогом правильного развития личности. – *Сост.*

²⁴ См.: Сочинения Карамзина, статью «Цветок на гроб моего Агатона». – *И. К.* Речь идет об Александре Алексеевиче Петрове. – *Сост.*

²⁵ Я. М. Ленц с 1781 г. жил в России и участвовал в кружке Н. И. Новикова. – *Сост.*

²⁶ О сочинениях Ленца смотри прекрасную статью Экштейна в его журнале «le Catholique» 1829 года. – *И. К.* Статья

Карамзин застал свою публику под влиянием мистицизма, странно перемешанного с мнениями французскими из середины восемнадцатого столетия. Этим двум направлениям надлежало сосредоточиться, и они естественно соединились в том филантропическом образе мыслей, которым дышат все первые сочинения Карамзина. Кажется, он воспитан был для своей публики, и публика для него. Каждое слово его расходилось по всей России, прозу его учили наизусть и восхищались его стихами, несмотря на их непоэтическую отделку, – так согласовался он с умонаклонностью своего времени. Между тем всеобщность его влияния доказывает нам, что уже при первом рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимущественно философии и за образом мнения забывали образ выражения. До сих пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия; какая-то правдивость мечты составляет оригинальность русского воображения, и то, что мы называем *чувством*, есть высшее, что мы можем постигнуть в произведениях стихотворных.

Направление, данное Карамзиным, еще более открыло нашу словесность влиянию словесности французской. Но именно потому, что мы в литературе искали философии, искали полного выражения человека, образ мыслей Карамзина должен был и пленить нас сначала, и впоследствии сделаться для нас неудовлетворительным. Человек не весь утопает в жизни действительной, особенно среди народа недеятельного. Лучшая сторона нашего бытия, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь нам дает, но мы придаем нашей жизни, которую преимущественно развивает поэзия немецкая, – оставалась у нас еще невыраженной. Французско-карамзинское направление не обнимало ее. Люди, для которых образ мыслей Карамзина был довершением, венцом развития собственного, оставались спокойными; но те, которые начали воспитание мнениями карамзинскими, с развитием жизни увидели неполноту их и чувствовали потребность нового. Старая Россия отдыхала, для молодой нужен был *Жуковский*.

Идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего, вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в достоинство человека и благость Провидения; стремление к неземному; равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не *душа*, что не *любовь*, – одним словом, вся *поэзия* жизни, все *сердце души*, если можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пленительный образ музы Жуковского. В ее задумчивых чертах прочли мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали: «Вот чего не доставало нам!» Еще большею прелестью украсили ее любовь к отечеству, ужас и слава народной войны²⁷.

Но поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средоточии своего бытия (в любви к прошедшему, которую можно назвать господствующим тоном его лиры)²⁸, была, однако же, воспитана на песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая составляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и философии; и таким образом в состав нашей литературы входили две стихии: умонаклонность французская и германская.

Между тем лира Жуковского замолчала. Изредка только отрывистые звуки знакомыми переливами напоминали нам о ее прежних песнях. Но развитие духа народного не могло остановиться. Как мысль зовет звук, так народ ищет поэта. Ему необходим наперсник, который бы сердцем отгадывал его внутреннюю жизнь, а в восторженных песнях вел дневник развитию господствующего направления. Поэт для настоящего – что историк для прошедшего: проводник народного самопознания.

французского журналиста Ф. Экштейна была написана по поводу изданных в Берлине (1828) сочинений Я. Ленца. – *Сост.*

²⁷ На события Отечественной войны 1812 г. В. А. Жуковский откликнулся в стихотворениях «Певец во стане русских воинов», «Вождю победителей» – *Сост.*

²⁸ Автор оттого не распространяется здесь о характере произведений Жуковского, что в этом же альманахе предполагал он напечатать особенный разбор его стихотворений, который, однако ж, по некоторым причинам остался неоконченным. – И. К.И. В. Киреевский предполагал поместить в «Деннице. Альманахе на 1830 год» статью о В. А. Жуковском. Была ли она написана – неизвестно. – *Сост.*

Литература наша, как мы уже сказали, представляла два борющиеся начала, но и филантропизм французский и немецкий идеализм совпадались в одном стремлении: в стремлении к *лучшей действительности*. Пушкин выразил его сначала под светлую краскою доверчивой надежды, потом под мрачным покровом байроновского негодования к существующему.

Но ни то, ни другое не могло быть продолжительным: это две крайности колебания маятника, ищущего равновесия. Между безотчетностью надежды и байроновским скептицизмом есть середина: это доверенность судьбе и мысль, что залог *желанного будущего* заключен в *действительности настоящего*; что в необходимости есть Провидение; что, если прихотливое создание мечты гибнет, как мечта, зато из *совокупности существующего* должно образоваться лучшее прочное. Оттуда *уважение к действительности*, составляющее средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которая обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа.

История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития – направление историческое обнимает {все}. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории: так Тьерри, чтобы защитить некоторые положения в парламенте, написал историю Франции²⁹. Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием торжества ума и бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика остановилась в открытии общих законов и обратилась к частным приложениям, к сведению теории на существенность действительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом.

Век не мог не иметь влияния и на Пушкина: мы увидим это, говоря о Полтаве. Но обратимся теперь к прошедшему году: теперь, с высоты общей мысли, нам будет легче обнять весь горизонт нашей словесности и указать настоящее место ее частным явлениям.

После всего будем мы говорить об наших журналах и альманахах. О других изданиях временных, хотя и непериодических, упомянем только в отношении к важнейшим сочинениям или в пример и доказательство некоторых оттенков характера нашей литературы; но преимущественно обратимся к тем первоклассным произведениям нашей словесности, которые блистали на литературном небе прошедшего года так ярко, как близкие кометы, и утвердились на нем так прочно, как неподвижные звезды, чтобы навсегда светить и указывать путь.

Первое, что привлекает здесь наше внимание, это XII том «Истории Российского государства»³⁰, последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского. XII том «Истории Российского государства», кажется, еще превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его «Истории» растет вместе с жизнью протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед ним судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа. Не место здесь входить в подробный разбор Карамзина и не по силам нам оценить его достоинство. В молчании почтим память бессмертного и с благоговением принесем дань благодарности и удивления на его свежую могилу.

Но как умолчать о его критиках, делавших столько шуму в нашей литературе? Почти каждое произведение Карамзина было яблоком раздора для нашей полупросвещенной словесности. Это тем удивительнее, что Карамзин ни разу не отвечал ни на одну критику и не оскор-

²⁹ Книга О. Тьерри «Письма об истории Франции» вышла в 1827 г. – *Сост.*

³⁰ И. В. Киреевский имеет в виду «Историю государства Российского». Последний 12-й т. вышел в 1829 г., после смерти Н. М. Карамзина. – *Сост.*

бил ни одного самолюбия; что возвышенность и до конца неизменившаяся чистота его души и жизни не оставили никакого оправдания для личной вражды; что, наконец, слава его, казалось, не могла не заглушить внушений низкой зависти. Несмотря на то, сколь немногие из критиков сохранили в глазах публики характер беспристрастия! Но если Карамзин имел врагов, зато истинными друзьями никто не был счастливее Карамзина и никто не имел столько почитателей, столько поклонников, столько горячих защитников своей славы. Оттого первый шаг его в область словесности уже был ознаменован рождением партий. Они разделяли почти всю просвещенную Россию на две неравные стороны, не засыпали в продолжение всей жизни Карамзина и пережили его земное существование. Чем выше звезда, тем гуще толпа родных звезд вокруг нее, тем больше места для темных туч под нею.

Всех критиков «Истории Российского государства» можно разделить на два класса: к первому принадлежат критики, нападающие на частные ошибки, неизбежные в труде столь огромном, столь несоразмерном с силами одного человека. Долго еще не изведать нам вполне бездонного моря народной жизни, затемненного его отдаленностью и мутностью источников! Признательности просвещенных заслуживают люди, посвятившие себя изучению древности, когда с достаточными силами, с простотою, с должным уважением к бессмертному историку они исправляют погрешности, которые естественно должны были вкратку в него «Историю». Но так ли поступает большая часть наших критиков? В темных подвалах архивских они теряют всякое чувство приличия и выходят оттуда с червями самолюбия и зависти, с пылью мелких придирок и в грязи неуважения к достоинству. Сюда принадлежат некоторые статьи, помещенные в «Московском вестнике» 28 и 29 годов и заслужившие справедливое негодование всех друзей русской истории и покойного историографа³¹. Но все справедливое справедливо только в границах, и те, которые, за помещение сих статей, поставили издателя в один разряд с сочинителем и включили его в число противников Карамзина, столько же не правы, сколько сам издатель, поместивший сии статьи. Если последний нашел в них замечания, казавшиеся ему истинными, то, по моему мнению, он должен был требовать от автора исключения всего неприличного и в случае отказа, совсем не печатать его рецензий, с потерей которых публика потеряла бы весьма немного. Но если г. Погодин поступил иначе, то он заслуживает упрек как журналист, а не как человек и писатель, не имеющий должного уважения к Карамзину. Собственные сочинения г. Погодина служат тому лучшим доказательством.

Второй разряд критиков нападает на систему и план целого, на понятия историографа об истории вообще³². Они обвиняют Карамзина в том, что он не обнимает *всех* сторон и оттенков нашей прошедшей жизни. Но критики не чувствуют, что если упреки их справедливы, то они служат не порицанием, а похвалою «Истории Российского государства» Ибо невозможно объять народной жизни во всех ее подробностях, куда частные отрасли ее развития не обработаны в отдельных творениях и не сведены к последним выкладкам. Оттого из столько историков, признанных за образцовых, критики не назовут нам двух, писавших по одному плану. Напротив того, каждый бытописатель избирал и преследовал преимущественно одну сторону жизни описываемого им государства, оставляя прочие в тени и в отдалении. Если Карамзин, следуя их примеру, ограничился преимущественным изложением политических событий и недосказал многого в других отношениях, то это ограничение было единственным условием

³¹ В «Московском вестнике», издателем которого был М. П. Погодин, появились статьи Н. Арцыбашева и П. Строева (1818. Ч. 11, 12. 1829. Ч. 3), неуважительные по тону и содержащие не всегда обоснованные упреки, а то и просто придирки в адрес «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Сам Погодин отчасти поддерживал выступления Арцыбашева и Строева, хотя и не был вполне согласен с их мнениями (Московский вестник. 1828. Ч. 12. № 23–24. С. 378–389). Впоследствии П. Строев иначе оценил труд Карамзина и издал обстоятельное справочное пособие «Ключ к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина» (1835). – *Сост.*

³² Исторические взгляды Н. М. Карамзина и сам принцип летописного построения «Истории государства Российского» подверг критике, в частности Н. А. Полевой (Московский телеграф. 1829. № 12). См. также: Полевой Н. А. История русского народа. М., 1829. Т. 1. Предисловие. – *Сост.*

возможности его успеха; и нам кажется весьма странным упрекать Карамзина за неполноту ее картины тогда, когда и с этой неполной картины мы еще до сих пор не можем снять даже легкого очерка, чтобы оценить ее как должно. Пусть люди с талантом пишут другие истории, пусть изберут они средоточием своих изысканий частную жизнь нашего народа, или изменение наших гражданских постановлений, или воспитание нашего просвещения, или ход и успехи торговли, или монеты и медали – труд их может быть полезен, и достижение цели возможно, ибо они пойдут по дороге, уже прочищенной.

Кроме сих двух разрядов есть еще третий род критиков, которым самая ничтожность их дает право на особенный класс: это *критики-невежды*. Равно бедные познаниями историческими и литературными, лишенные даже поверхностного понятия об общих положениях науки и совершенно бесчувственные к приличиям нравственным, они слабыми руками силятся пошатнуть творение вековое, переворачивают смысл в словах писателя великого, смеют приписывать ему собственное неразумие и хотят учить детским истинам мужа бессмертного, гордость России. Даже достоинство учености думают они отнять у «Истории» Карамзина и утверждают, что она писана для одних светских невежд, они, невежи несветские! Все бесполезно, что они говорят; все ничтожно, все ложь – даже самая истина; и если случайно она вырвется из уст их, то, краснея, спешит снова спрятаться в свой колодезь, чтобы омыться от их осквернительного прикосновения. Я не называю никого: читатель сам легко отличит этот разряд судей непризванных по той печати отвержения, которою украсило их литературное и нравственное невежество, положив клеймо своей таможи на их контрабандное лицо. Оставим их.

Но с удовольствием укажем на критику, в которой дельность и беспристрастие разысканий соединяются с приличностью тона: это статья, напечатанная в 3-м номере «Московского вестника» «*О участии Годунова в убиении Димитрия*»³³.

Кроме XII тома «Российской истории», в прошедшем году вышло у нас, если верить журналам, еще одно сочинение историческое, замечательное по достоинству литературному, – это «Полтава» Пушкина. В самом деле, из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия³⁴. Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину.

Мы видели, что одно стремление *воплотить поэзию в действительность* уже доказывает и большую зрелость мечты поэта, и его сближение с господствующим характером века. Но всегда ли поэт был верен своему направлению? И, переселив воображение в область сущности, нашел ли он в ней полный ответ на все требования поэзии? Или выступал иногда из круга действительности, как бы видя в нем арфу, у которой недостает еще нескольких струн, чтобы выразить все движения души?

Кроме голой сущности и *дополнительной* думы поэта (которая также сущность), мы еще находим в «Полтаве» иногда думу, *противоречащую* действительности, иногда порыв чувства, несогласный с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Полтавы»: на софизм о любви стариков и на романтическую чувствительность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея³⁵. И то, и другое противоречит

³³ В статье М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия» (Московский вестник. 1829. Ч. 3) содержалась полемика с некоторыми мнениями Карамзина: в частности, ставилась под сомнение виновность Бориса Годунова в убийстве и все его царствование расценивалось как блестящая эпоха в русской истории. – *Сост.*

³⁴ В споре об исторической достоверности изображенных в «Полтаве» лиц и событий участвовали Ф. Булгарин (Сын Отечества. 1829. № 15–16), Н. Надеждин (Вестник Европы. 1829. № 8–9), находившие в поэме ряд погрешностей. Им возражали М. Максимович (Атеней. 1829. № 12) и автор «Разбора “Полтавы”» (Сын Отечества. 1829. № 15) и «Северного архива» (Галатея. 1829. № 17). На эту полемику откликнулся А. Пушкин (Денница на 1831 год). – *Сост.*

³⁵ Подразумеваются стихи из первой песни «Полтавы»: Мгновенно сердце молодое Горит и гаснет. <...> Но поздний жар уже не стынет И с жизнью лишь его покинет. И стихи из третьей песни: Обозревая зорким взглядом Степей широкий полукруг <...> И сад, откуда ночью темной Ты вышел в степь... Узнал, узнал! На высказанное в статье замечание И. В. Киреевского, что

истине, но и то, и другое делает минутный эффект. Это сцена из Корнеля, вплетенная в трагедию Шекспира.

Такое борение двух начал, мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать их примирению. Это переход с одной степени на другую, и в наше время не один Пушкин может служить примером такого разногласия. Им дышит большая часть трагедий Шиллера, все трагедии Раупаха, Фр. Шлегеля³⁶, Грильпарцера и почти все произведения новейших немецких писателей; французская мелодрама обязана ему своим происхождением; иногда мы находим его даже у Вальтера Скотта, когда для возбуждения большего любопытства он вводит своих героев в положения неестественные; сам Гете, великий Гете, даже в «Эгмонте» наклонился один раз перед своим веком, олицетворив свободу Фландрии³⁷.

Но та зрелость таланта, которую доказывает господствующий, хотя и не везде выдержанный характер «Полтавы», заметна также и в отдельных частях сей поэмы. Об ней свидетельствуют и мастерская обработка стихов, и сжатая полнота рассказа, и стройность переходов, особливо в первой песне, и ясная выразительность картин, и даже некоторая небрежность в языке и в описаниях. Вообще если мы будем смотреть на «Полтаву» как на зеркало дарования, то увидим, что она дает нам право на большую надежду в будущем, нежели все прежние поэмы Пушкина. Но зато если мы будем рассматривать ее в отношении к ней самой, то найдем в ней такие несовершенства, которые хотя несколько объясняют нам, почему публика приняла ее не с таким восторгом, какой обыкновенно возбуждают в ней произведения Пушкина. Главное из сих несовершенств есть недостаток единства интереса, единственного из всех единств, которого несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики. Если бы поэт сначала возбуждал в нас участие любви или ненависти к политическим замыслам Мазепы, тогда и Петр, и Карл, и Полтавская битва были бы для нас развязкою любопытного происшествия. Но посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни, и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песнь можно назвать почти лишнею.

По этой ли причине или потому, что словесность наша еще не доросла до господствующего направления «Полтавы», поэма сия не имела видимого влияния на нашу литературу, и ни один из подражателей Пушкина не избрал ее в образцы для своих мозаиков.

Но сколько однолетних литературных цветков вышло в прошедшем году из семян, брошенных Пушкиным на поле нашей словесности еще во время его байроновского направления! Замечательнейший из подражателей Пушкина есть г. Подолинский. Но его поэма, «*Борский*», по бедности мыслей, по несоответственности языка с чувствами и чувств с предметами и по еще важнейшим несообразностям в плане – замечательна только одною звучностью стихов.

Жуковский напечатал в прошедшем году свое «*Море*», «*Песнь победителей*» из Шиллера и связанные отрывки из «Илиады». Здесь в первый раз увидели мы в Гомере такое качество, которого не находили в других переводах: что у других напыщенно и низко, то здесь просто и благородно; что у других бездушно и вяло, здесь сильно, мужественно и трогательно; здесь все тепло, все возвышенно, каждое слово от души; может быть, это-то и ошибка, если прекрасное может быть ошибкою.

«*Море*» Жуковского живо напоминает всю прежнюю его поэзию: те же звуки, то же чувство, та же особенность, та же прелесть. Кажется, все струны его прежней лиры отозвались

эти места поэмы *противоречат истине*, А. С. Пушкин ответил в «Деннице на 1831 год». – *Сост.*

³⁶ Недостатки трагедий Ф. Шлегеля имеют еще другой главнейший источник: неравновесие гениальности с системою. – *И. К.*

³⁷ Имеется в виду финал трагедии Гёте «Эгмонт», когда приговоренному к смерти главному герою является видение, олицетворяющее Свободу Фландрии. В этом видении Эгмонт узнает черты своей возлюбленной Клерхен. В подобных образах И. В. Киреевский видел чуждое художественной правде смешение *мечтательности и существенности*. – *Сост.*

здесь в одном душевном звуке. Есть, однако, отличие: что-то больше задумчивое, нежели в прежней его поэзии.

«Торжество победителей» во многих местах превосходит подлинник изящностью отделки и поэтическими оттенками языка. Такова участь большей части переводов Жуковского. Из подражателей Жуковского, писавших в прошедшем году, замечательнейшие И. И. Козлов и Ф. Н. Глинка³⁸. Первый издал собрание своих стихотворений.

Любовь к литературе германской, которой мы обязаны Жуковскому, все более и более распространяясь в нашей словесности, была весьма заметна и в произведениях прошедшего года. Между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева³⁹. Последний, однако же, напечатал в прошедшем году только одно стихотворение⁴⁰. Хомяков, которого стихи всегда дышат мыслию и чувством, а иногда блестят dokonченностью отделки, отдал на театр своего «Ермака»⁴¹; но, чтобы судить об этой трагедии, подождем ее явления в большой печатный свет: давно уже сказано, что типографский станок есть единственно верный пробный камень для звонкой монеты стихов. Шевырев помещал в журналах некоторые мелкие стихотворения и кроме того отрывки из перевода «Вильгельма Теля». Имея дарования отличные, обладая редким познанием русского языка, удивительною легкостью в труде и более всего душою пламенною, сосредоточенною в любви к *высокому*, Шевырев, однако ж, имеет важный недостаток: недостаток отделки, и не только в частях, но и в плане, не только в важных, но даже и в мелких стихотворениях. Часто вмещает он две разнородные господствующие мысли в одну пьесу и тем мешает чувству сосредоточиться. Но это богатство мыслей, часто излишнее (как бы желали мы упрекнуть в этом качестве большую часть наших писателей!), это богатство мыслей, особенно заметное в прозе Шевырева, не есть ли залог его будущих успехов? Теперь он только выступает на поприще, когда же жизнь и опыт положат последний венец вкуса на его счастливые дарования, тогда, конечно, он займет значительное место в нашей литературной аристократии.

Говоря о той части словесности, которая преимущественно обнаруживает влияние немецкое, нельзя не упомянуть об «Ижорском», сочинение неизвестного⁴². Некоторые сцены из этой драматической фантазии были напечатаны в «Северных цветах» прошедшего года и замечательны по редкому у нас соединению глубокости чувства с игривостью воображения. Мы причисляем это произведение к немецкой школе, несмотря на некоторое подражание Шекспиру, потому, что Шекспир здесь более Шекспир тиковский⁴³, огерманившийся, нежели Шекспир настоящий, Шекспир англичанин. К тому же и дух целого сочинения, сколько можно судить по отрывкам, кажется нам преимущественно немецкий.

Но среди молодых поэтов, напитанных великими писателями Германии, более всех блеснул и отличался покойный Д. В. Веневитинов, которого стихотворения вышли в прошедшем году⁴⁴. Его желание исполнилось: прочтя немного, что осталось нам после него, кто не скажет с чувством восторга и печали:

Как я люблю его созданья!

³⁸ Некоторые мотивы поэзии И. И. Козлова позволяют говорить о близости его к особенностям стиха В. А. Жуковского. Гражданские мотивы в творчестве Ф. Н. Глинки все более вытеснялись религиозно-медитативной лирикой, что также сближало его с В. А. Жуковским. – *Сост.*

³⁹ Против отнесения Ф. И. Тютчева к *поэтам немецкой школы* возражал критик журнала «Галатей» (1830. № 6. С. 331), во многом выражавший мнение С. Е. Раича. – *Сост.*

⁴⁰ Вероятно, имеется в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «На камень жизни роковой...» (Атеней. 1829. Кн. 1). – *Сост.*

⁴¹ Трагедия А. С. Хомякова «Ермак» была представлена в Малом театре (Санкт-Петербург) в августе 1829 г. Отдельное ее издание вышло в 1832 г. – *Сост.*

⁴² Мистерию «Ижорский» написал находящийся тогда в ссылке поэт-декабрист В. К. Кюхельбекер. – *Сост.*

⁴³ Т. е. написанный в духе немецкого писателя-романтика Людвиг Тика. – *Сост.*

⁴⁴ Сочинения Д. В. Веневитинова. М., 1829. Ч. 1. Стихотворения. – *Сост.*

Он дышит жаром красоты,
В нем ум и сердце согласились,
И мысли полные носились
На легких крыльях мечты.
Как знал он жизнь, как мало жил!⁴⁵

Веневитинов создан был действовать сильно на просвещение своего отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии. Кто вдумается с любовью в сочинения Веневитинова (ибо одна любовь дает нам полное разумение); кто в этих разорванных отрывках найдет следы общего им происхождения, единство одушевляющего их существа; кто постигнет глубину его мыслей, связанных стройною жизнью души поэтической, – тот узнает философа, проникнутого откровением своего века; тот узнает поэта глубокого, самобытного, которого каждое чувство освещено мыслью, каждая мысль согрета сердцем, которого мечта не украшается искусством, но сама собою рождается прекрасная, которого лучшая песнь – есть собственное бытие, свободное развитие его полной, гармонической души. Ибо щедро природа наделила его своими дарами и их разнообразие согласила равновесием. Оттого все прекрасное было ему родное; оттого в познании самого себя находил он разрешение всех тайн искусства, и в собственной душе прочел начертание высших законов, и созерцал красоту создания. Оттого природа была ему доступною для ума и для сердца, он мог

В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть⁴⁶.

Созвучие ума и сердца было отличительным характером его духа, и самая фантазия его была более музыкаю мыслей и чувств, нежели игрою воображения. Это доказывает, что он был рожден еще более для философии, нежели для поэзии⁴⁷. Прозаические сочинения его, которые печатаются и скоро выйдут в свет, еще подтвердят все сказанное нами⁴⁸.

Но что должен был совершить Веневитинов, чему помешала его ранняя кончина, то совершится само собою, хотя, может быть, уже не так скоро, не так полно, не так прекрасно. Нам *необходима* философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия, она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?

Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша* философия должна развиваться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта. Когда? И как? – скажет время, но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели.

⁴⁵ Последние стихи покойного Д. В. Веневитинова. – И. К. Цитата из стихотворения Веневитинова «Поэт и друг». – *Сост.*

⁴⁶ И. В. Киреевский цитирует «Монолог Фауста», представляющий собой отрывок из предпринятого Д. В. Веневитиновым перевода «Фауста» Гёте. – *Сост.*

⁴⁷ Немногие прозаические труды Д. В. Веневитинова свидетельствуют о больших возможностях его как оригинального мыслителя. В статье «О состоянии просвещения в России» и в речи «Что написано пером, того не вырубить топором», произнесенной в кружке Любомудров (1824), Веневитинов обосновывал необходимость создания самобытной русской философии, которая поможет просвещению «развить свои силы и образовать систему мышления». – *Сост.*

⁴⁸ Сочинения Д. В. Веневитинова. М., 1831. Ч. 2. Проза. – *Сост.*

Чтобы еще более убедиться в пользе влияния немецких мыслителей, взглянем на многочисленную толпу тех из наших писателей, которые, не отличаясь личным дарованием, тем яснее показывают достоинство приобретенного ими чужого. Здесь господствуют два рода литераторов: одни следуют направлению французскому, другие немецкому. Что встречаем мы в сочинениях первых? *Мыслей* мы не встречаем у них, ибо мысли собственно французские уже стары, следуют не мысли, а общие места: сами французы заимствуют их у немцев и англичан⁴⁹. Но мы находим у них *игру слов* редко, весьма редко, и то случайно соединенную с остроумием, и *шутки*, почти всегда лишенные вкуса, часто лишенные всякого смысла. И может ли быть иначе? Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества, а многие ли из наших писателей имеют счастье принадлежать к нему?

Напротив того, в произведениях писателей, которые напитаны чтением немецких умствователей, почти всегда найдем мы что-нибудь достойное уважения, хотя тень мысли, хотя стремление к этой тени.

Но я говорю о писателях без дарований: талант равно блесит везде; он, как красота, дает прелесть всем движениям; как чувство, дает душу всем словам; как ум, дает уместностью цену всем мыслям. Князь Вяземский может быть тому прекрасным доказательством. Следуя преимущественно направлению французскому, он умеет острые стрелы насмешки закалять в оригинальных мыслях и согревать чувством всегда умную, всегда счастливую, блестящую *игру ума*. Но и князь Вяземский, несмотря на все свои дарования, несмотря на то, что мы можем назвать его остроумнейшим из наших писателей, еще выше там, где, как в «*Унынии*», голос сердца слышнее ума.

Многие утверждают, что французское направление господствует также и в произведениях Баратынского⁵⁰, но, по нашему мнению, он столько же принадлежит к школе французской, сколько Ламартин⁵¹, сколько сочинитель *Сен-Марса*⁵², сочинитель *Заговора Малета*⁵³, сколько наш Пушкин и все те писатели, которые, начав свое развитие мнениями французскими, довершили его направлением европейским, сохранив французского одну dokonченность внешней отделки.

Поэзия собственно французская, как утреннее солнце, золотит одни вершины. Только те минуты жизни, которые *выдаются* из жизни вседневной, которые и толпа разделяет с поэтом, имеют право входить в заколдованный круг их мечтаний, и, может быть, один Шенье делает исключение, если можно направление Шенье назвать французским. Но муза Баратынского,

⁴⁹ Что французская литература девятнадцатого века, утратив свою прежнюю самобытность, живет единственно чужим вдохновением, о том свидетельствуют все ее лучшие произведения. Но еще новым подтверждением сей истины может служить славный триумvirат законодателей французского мышления в наше время. Есть ли хотя одна плодоносная мысль в лекциях Cousin, которую бы он не занял у немцев? Не англичанам ли и немцам принадлежат все основные положения Villemain, столь блестящего в своих применениях, столь искусно умеющего скрыть строгую стройность системы под наружным беспорядком отдельных замечаний? Литературно-критические сочинения Гизо обнаруживают еще непримиримую борьбу нового германского учения с прежними мнениями французов, но исторические его лекции дышат системою связною, полною, глубокою и занятою совершенно у новейших немецких философов, хотя новое развитие сей системы, ее полнейшее и часто гениальное применение к жизни средних веков делают Гизо одним из оригинальнейших французских мыслителей. Есть, однако, в литературе французской такое качество, которое отличает ее от всех других, обещает много для будущего и самим подражанием дает цвет оригинальности: это тесная связь литературы с жизнью, но именно этого-то качества не могут перенять наши русские подражатели. – И. К.В. Кузен (Cousin) испытал значительное философское воздействие Ф. Якоби, Шеллинга и особенно Гегеля. Что касается Гизо, то, вероятно, И. В. Киреевский имеет в виду его книгу: «*Vie des poètes francaois du siècle de Louis XIV*» («Жизнь французских поэтов века Людовика XIV». 1813). – *Сост.*

⁵⁰ О близости Баратынского *французскому направлению* писал, в частности, А. Дельвиг: «Баратынский недавно познакомился с романтиками, а правила французской школы всосал с материнским молоком». – *Сост.*

⁵¹ Говоря о принадлежности Ламартина (как и Баратынского и др.) к *французской школе*, И. В. Киреевский имеет в виду, что он, как и другие поэты-романтики, начали следовать эстетическим принципам классической французской поэзии. – *Сост.*

⁵² Автором романа «Сен Мар» был французский писатель А. В. де Виньи. – *Сост.*

⁵³ Пьеса «Заговор Малета» вошла в книгу Фонжера (общий псевдоним французских литераторов О. Каве и А. Дитмера) «*Вечера в Нейи*» (1828). – *Сост.*

обняв всю жизнь поэтическим взором, льет равный свет вдохновения на все ее минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с *целою* жизнью, с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нем нового, не замеченного с первого взгляда, – верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка.

Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт еще не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать еще несравненно более того, что он совершил; что ему еще предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение.

Но в его «*Бальном вечере*»⁵⁴, напечатанном в прошедшем году, есть недостаток, которого нет в его «*Эдде*», ни в «*Переселении души*», в этом миллом, остроумно-мечтательном капризе поэтического воображения, в «*Бальном вечере*» Баратынского, нет средоточия для чувства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нем нет одной *составной силы*, в которой бы соединились и уравнились все душевные движения. Несмотря на то, однако же, эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружную связь целого и совершенством отделки. В самом деле, кто, прочтя ее, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что смещение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи для его таланта; одним словом, что на его «*Бальном вечере*», как и на других бальных вечерах непоэтических, сквозь тонкий, прозрачный занавес виден утренний свет наступающего дня?

Барон Дельвиг издал *собрание* своих *стихотворений*⁵⁵. Так же, как Баратынский, он не принадлежит ни к одной из новейших школ, и даже подражания его древним носят печать оригинальности.

Всякое подражание по системе должно быть холодно и бездушно. Только подражание из любви может быть поэтическим и даже творческим. Но в последнем случае можем ли мы совершенно забыть самих себя? И не оттого ли мы и любим образец наш, что находим в нем черты, соответствующие требованиям нашего духа? Вот отчего новейшие всегда остаются новейшими во всех удачных подражаниях древним⁵⁶; скажу более: нет ни одного истинно изящного перевода древних классиков, где бы ни легли следы такого состояния души, которого не знали наши праотцы по уму. Чувство религиозное, коим мы обязаны христианству; романическая любовь – подарок арабов и варваров; уныние – дитя Севера и зависимости; всякого рода фанатизм – необходимый плод борьбы вековых неурядиц Европы с порывами к улучшению; наконец, перевес мысленности над чувствами и оттуда стремление к единству и сосредоточению – вот новые струны, которые жизнь новейших народов натянула на сердце человека. Напрасно

⁵⁴ Поэма Е. Баратынского «Бал» (1825–1828). – *Сост.*

⁵⁵ Стихотворения барона Дельвига. СПб., 1829. – *Сост.*

⁵⁶ Великий Гете представляет тому убедительный пример. Все, что есть прекрасного в его пленительной «Ифигении», эти поэтические переливы сердечных оттенков, выраженные душевно-музыкальными стихами, принадлежат исключительно поэзии новейшей. И чем обязана «Ифигения» систематическому усилию подражания? Неподвижностью действия и безличностью характеров, которые делают ее неспособною к театральному представлению и совершенно несносною в немного посредственном переводе. То же можно сказать и о шиллеровой «Мессинской невесте». – И. К. Трагедия Гёте называется «Ифигения в Тавриде» (1787). – *Сост.*

думает он заглушить их стон, ударяя в лиру Греции: они невольно отзываются на его песню, и, вместо простого звука, является аккорд.

Таковы подражания Дельвига. Его муза была в Греции; она воспиталась под теплым небом Аттики; она наслушалась там простых и полных, естественных, светлых и правильных звуков лиры греческой; но ее нежная краса не вынесла бы холода мрачного Севера, если бы поэт не прикрыл ее нашею народною одеждою; если бы на ее классические формы он не набросил душегрейку новейшего уныния⁵⁷, – и не к лицу ли гречанке наш северный наряд?

То же господствующее чувство заметно и в других произведениях Дельвига, и то же качество, которое дает отлив новейшего его подражаниям древним, было причиною, что поэт выше всего является в своих русских песнях.

Но говоря о писателях образцовых, коих имена блестили в литературе прошедшего года, можно ли не упомянуть об одной из лучших надежд наших? Немногие получили в удел такую силу и мужество, коими красуются произведения Языкова. Каждый стих его живет огнем, как саламандра.

Если мы будем рассматривать литературу нашу в отношении к другим европейским, то найдем в ней соединенное влияние почти всех словесностей. Мы сказали уже, что направление немецкое и французское у нас господствующее. Влияние поэзии английской, особенно байроновской и оссиановской⁵⁸, заметно в произведениях многих из наших литераторов. Подражания древним, хотя немногочисленные, не могли не иметь влияния на общий характер нашей литературы. Словесность итальянская, отражаясь в произведениях Нелединского и Батюшкова, также бросила свою краску на многоцветную радугу нашей поэзии. Все это живет вместе, мешается, роднится, ссорится и обещает литературе нашей характер многосторонний, когда добрый гений спасет ее от бесхарактерности.

Но влияние итальянское, или, лучше сказать, батюшковское, заметно у немногих из наших стихотворцев. *Туманский* отличается между ними нежностью чувства и музыкальностью стихов. В прошедшем году он печатал немного. К той же школе принадлежат г-да Раич и Ознобишин.

Пределы этой статьи не позволяют нам распространяться обо всех замечательных произведениях прошедшего года. Упомянем о некоторых. Василий Львович Пушкин напечатал три главы из своей романтической поэмы «Храбров», где муза его не изменила своей обыкновенной любезности. Г-жа Лисицына издала собрание своих стихотворений, где чувство и простота выражений ручаются за неподложность таланта. Барон Розен издал «Деву семи ангелов».

Кроме того здесь и там мелькают имена господ Илличевского, Корсака, Трилунного, Павлова, Григорьева, Вельтмана, Вердеревского, Лихонина, Михаила Дмитриева, Маркевича, Крюкова, Сиянова, Краинского, Якубовича, Степанова⁵⁹, Левшина, Каховского, Петрова⁶⁰, Тростина, Олина, Межакова, Масальского, Зайцевского, Каркунова, Багяилова и других. Но что сказать об этих писателях? Многие из них знакомы уже нашей публике, другие вышли еще с белыми щитами на опасное поприще стихотворной деятельности. Во многих, может быть,

⁵⁷ Это выражение вызвало насмешки критиков (Полевой К. Взгляд на два Обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и «Северных цветах» // Московский телеграф. 1830. № 2). Вообще И. В. Киреевский старался избегать подобных стилистических фраз. Впоследствии В. И. Ламанский даже находил, что Киреевский обладал «необыкновенным, почти платоновским изяществом изложения. По языку он писатель классический». – *Сост.*

⁵⁸ Оссиан – легендарный герой кельтского эпоса. Под его именем известен большой цикл поэтических произведений, так называемых «поэм Оссиана». В их сумрачно-мистическом духе в европейской литературе создавалось множество произведений, наиболее известные – поэмы Д. Макферсона «Фингал» и «Темора», выпущенные под именем Оссиана. Первый русский перевод «поэм Оссиана» был сделан в 1792 г. Е. Т. Костровым. Оссиановские мотивы и образы широко вошли в русскую поэзию (Жуковский, Пушкин и др.). – *Сост.*

⁵⁹ Возможно, имеется в виду В. А. Степанов, сотрудник альманаха «Цефей» (1829). – *Сост.*

⁶⁰ Возможно, имеется в виду И. М. Петров. – *Сост.*

таится талант и для развития силы ищет только времени, случая и труда – по крайней мере будем хранить уважение к надежде подле любви к воспоминанию.

Драматическая литература наша – но можно ли назвать литературой сбор наших драматических произведений? В этой отрасли словесности мы беднее всего. Трагедии в прошедшем году не вышло ни одной. Из комедий ни одна не превышает посредственного. Замечательнее других – «Светский случай» г-на Хмельницкого, его же отрывки из «Арзамасских гусей»⁶¹, отрывки из «Колумба», недоконченной комедии покойного А. И. Писарева⁶², и «Дворянские выборы», сочинение неизвестного⁶³.

Вообще наш театр представляет странное противоречие с самим собою: почти весь репертуар наших комедий состоит из подражаний французам, и, несмотря на то, именно те качества, которые отличают комедию французскую от всех других, – вкус, приличность, остроумие, чистота языка и все, что принадлежит к потребностям хорошего общества, – все это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вместо того чтобы быть зеркалом нашей жизни, служит увеличительным зеркалом для одних лакейских наших, далее которых не проникает наша комическая муза. В лакейской она *дома*, там ее и гостиная, и кабинет, и зала, и уборная; там проводит она весь день, когда не ездит на запятках делать визиты музам соседних государств, и, чтобы русскую Талию изобразить похоже, надобно представить ее в ливрее и в сапогах.

Таков общий характер наших оригинальных комедий, еще не измененный немногими редкими исключениями. Причина этого характера заключается отчасти в том, что от Фонвизина до Грибоедова мы не имели ни одного комического таланта, а известно, что необыкновенный человек, как и необыкновенная мысль, всегда дают одностороннее направление уму, что перевес силы уравновешивается только другою силою, что вред гения исправляется явлением другого, противодействующего.

Между тем можно бы заметить нашим комическим писателям, что они поступают нерасчетливо, избирая *такое* направление. За простым народом им не угнаться, и как ни низок язык их, как ни богаты неприличностями их удалые шутки, как ни грубы их фарсы, которым хохочет раек, но они никогда не достигнут до своего настоящего идеала, и все комедии их – любой извозчик убьет одним словом.

Почти на каждом из наших писателей заметно влияние, более или менее смешанное, какой-нибудь из иностранных литератур или которого-нибудь из наших первоклассных писателей. Есть, однако же, у нас особенная школа, оригинальная, самобытная, имеющая свои качества, свое направление, своих многочисленных приверженцев, совершенно отличная от всех других, хотя многие из наших писателей заимствуют у нее красоты свои. Школа сия началась вместе с веком, и основателем ее был граф Дмитрий Иванович Хвостов⁶⁴, а последователи его гг. Борис Федоров, Телепнев, Свечин, Волков, Бестужев-Рюмин, А. Орлов и другие. Почти все сии писатели суть поэты эпические, и почти каждый из них создал особенную поэму в классическом духе, и только немногие, например г. Рюмин, позволяют себе вступать в область романтики, но г. Федоров делает исключение из всех: более других приближаясь к основателю школы, он писал почти во всех родах.

⁶¹ Принадлежащие Н. И. Хмельницкому комедия в стихах «Светский случай» и отрывки из комедии «Арзамасские гуси» были опубликованы в альманахе «Букет Карманная книжка для любителей и любительниц театра на 1829 год» (1829) – *Сост.*

⁶² Первое действие исторической комедии А. И. Писарева «Христофор Колумб» было опубликовано в «Московском вестнике» (1829. Ч. 1). – *Сост.*

⁶³ Автор комедии «Дворянские выборы» – Г. Ф. Квитка-Основьяненко. – *Сост.*

⁶⁴ Д. И. Хвостов, не имея литературного дарования, писал очень много, эпигонски следуя классическим образам, и снискал себе репутацию писателя-графомана. Был неизменной мишенью насмешек и эпиграмм многих литераторов. И. В. Киреевский говорит о *школе* Хвостова, подразумевая посредственных писателей-эпигонов. – *Сост.*

Этот школой мы заключим обозрение оригинальных произведений наших стихотворцев. Переводами прошедший год был богаче всех предшествовавших. Назовем замечательнейшие. Г-н *Ротчев* перевел «Вильгельма Теля» и «Мессинскую невесту» Шиллера и печатал некоторые отрывки из «Макбета» Шекспирова. Стих г. Ротчева силен и звучен, но он иногда темен, часто неверен подлиннику и редко передает все оттенки оригинала. Г-н *Шевырев* напечатал одно действие «Вильгельма Теля». Его перевод ближе к подлиннику и изящнее перевода г-на Ротчева. Г-н *Вронченко* перевел «Гамлета», отрывки из «Дядюв» Мицкевича, отрывки из Юнга и несколько «Ирландских мелодий» Мура. Вообще переводы его весьма близки и язык правилен, хотя не довольно изящен и тяжел в оборотах. Г-н *Познанский* перевел «Альпугару» из Мицкевича, она принадлежит еще не к лучшим произведениям г-на Познанского, который вообще отличается верным чувством поэтических красот подлинника, изящною простотою языка и точностью выражений.

Кроме того переводили и печатали отрывки в разных журналах и альманахах: из «Ромео и Юлии» Шекспира г...⁶⁵, из «Дон-Карлоса» Шиллера и «Ифигении» Гете г. *Лихонин*, из «Дон-Карлоса» же г. *Колачевский* и г. *Ободовский*, из Байронова «Дон-Жуана» и «Паризины», из Парни и Мура г. *Маркевич*, «Паризину» перевел также г. *Карцев*, г. *Щастный* перевел «Фариса» Мицкевича, «Лару» Байрона перевел г. *Носков*. Г-н *Трилуный* переводил из «Гяура» Байрона и несколько сцен из Мольерова «Амфитриона». Г-н *Козлов* перевел «Крымские сонеты» Мицкевича. Его же «Субботний вечер», подражание Борнсу⁶⁶, замечателен по приложенным в начале стихам на смерть А. А. Воейковой, где видно трогательное чувство души, умеющей любить прекрасное.

Сии переводы, хотя весьма различного достоинства, все, однако же, доказывают успехи нашего просвещения и усовершенствование нашего языка. Двадцать лет назад каждый из них возбудил бы особенное внимание. Заметим, что шесть иностранных поэтов разделяют преимущественно любовь наших литераторов: Гете, Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич. Добрый знак для будущего! Знакомством с Гете, Шиллером и Шекспиром обязаны мы распространившемуся влиянию словесности немецкой и Жуковскому; знакомством с Байроном обязаны мы Пушкину; любовь к Муру принадлежит к тем же странностям нашего литературного вкуса, которые прежде были причиною безусловного обожания Ламартина. С Мицкевичем прежде всех познакомил нас князь Вяземский⁶⁷: это счастливое начало дружественного сближения двух родных словесностей, которые до сих пор чуждались друг друга.

Польская литература, так же, как русская, до сих пор была не только отражением литературы французско-немецкой, но и существовала единственно силою чуждого влияния. Как могла она действовать на Россию? Чтобы обе словесности вступили в сношения непосредственные и заключили союз прочный, нужно было хотя одной из них иметь своего уполномоченного на сейме первоклассных правителей европейских умов, ибо одно господствующее в Европе может иметь влияние на подвластные ей литературы. Мицкевич, сосредоточив в себе дух своего народа, первый дал польской поэзии право иметь свой голос среди умственных депутатов Европы и вместе с тем дал ей возможность действовать и на нашу поэзию⁶⁸.

⁶⁵ В «Северных цветах на 1829 год» была напечатана «Сцена из трагедии Шекспира “Ромео и Юлия”», переводчиком которой был П. А. Плетнев. – *Сост.*

⁶⁶ Книга И. Козлова называлась «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова» (СПб., 1829). – *Сост.*

⁶⁷ И. В. Киреевский, вероятно, имеет в виду подборку прозаических переводов произведений А. Мицкевича («Крымские сонеты» и др.), сделанных П. А. Вяземским и опубликованных в «Московском телеграфе» (1827. № 7). Однако переводы произведений Мицкевича появились и раньше: прозаические переводы баллад «Свитезь» (Новости литературы. 1825. Сентябрь), «Свитезянка» (Сирус. Собрание сочинений и переводов в стихах и прозе, изданное М. А. Бестужевым-Рюминым. СПб., 1826. Кн. 1) и др. – *Сост.*

⁶⁸ И. В. Киреевский выделял в европейской литературе романтическое творчество А. Мицкевича, был в дружеских отношениях с ним и посвятил ему свое стихотворение «Мицкевичу» (см.: Наст. изд.). – *Сост.*

Более или менее сложное влияние сих шести чужеземных поэтов, соединенное с влиянием нашей собственной литературы, образует теперь общий характер всех первоклассных стихотворцев наших и, следовательно, характер нашей текущей словесности вообще. Но прежде нежели мы получим право говорить о сем общем характере, должны мы закончить картину литературы прошедшего года обозрением прозаических сочинений и журналов.

Мы не будем здесь говорить ни об «Истории четырех ханов», ни об «Описании Пекина», изданных отцом Иакинфом⁶⁹, ни о картине войны с Турцией, сочиненной г-м Бутурлиным⁷⁰, ни о других более или менее замечательных произведениях, не входящих в область чистой литературы. Но заметим, что прошедший год был особенно богат произведениями в роде повествовательном. Назовем лучшие: «Мешок с золотом» г-на *Полевого*⁷¹; «Черная курица», сказка для детей г-на *Погорельского*; «Черная немочь» г-на *Погодина*⁷²; «Уединенный домик на Васильевском острове» *Тита Космократова*; «Русалка» г-на *Байского* и другие. «Черный год, или Горские князья» имеет все те же качества, какая публика находила в прежних романах покойного г. Нарезного⁷³: *возможность* таланта, которому для перехода в *действительность* еще недоставало большей образованности и вкуса.

Менее таланта, но более литературной опытности, язык более гладкий, хотя бесцветный и вялый находим мы в «*Выжигине*», нравственно-сатирическом романе г-на Булгарина⁷⁴. Пустота, безвкусице, бездушность, нравственные сентенции, выбранные из детских прописей, неверность описаний, приторность шуток – вот качества сего сочинения, качества, которые составляют его достоинство, ибо они делают его по плечу простому народу и той части нашей публики, которая от азбуки и катехизиса приступает к повестям и путешествиям. Что есть люди, которые читают «*Выжигина*» с удовольствием и, следовательно, с пользою, это доказываетея тем, что «*Выжигин*» расходуется. Но где же эти люди? – спросят меня. Мы не видим их точно так же, как и тех, которые наслаждаются «*Сонником*» и книгою «*О клопах*»⁷⁵, но они есть, ибо и «*Сонник*», и «*Выжигин*», и «*О клопах*» раскупаются во всех лавках.

Замечательно, что в прошедшем году вышло около 100 000 экземпляров «Азбуки русской», около 60 000 «Азбуки славянской», 60 000 экземпляров «Катехизиса», около 15 000 «Азбуки французской», и вообще учебные книги расходились в этом году почти целою третью более, нежели в прежнем. Вот что нам нужно, чего недостает нам, чего по справедливости требует публика.

Из переводных книг назовем две: «*Вертера*», сочинение Гете, перевод г-на Р.⁷⁶, и «*Историю литературы*» Фр. Шлегеля, перевод неизвестного⁷⁷. Первый можно назвать самым близким, самым изящным из всех прозаических переводов, вышедших у нас в последнее двадцатилетие.

⁶⁹ Упомянутые И. В. Киреевским книги о Иакинфа (Н. Я. Бичурина): История первых четырех ханов из дома Чингисхана. СПб., 1829; Описание Пекина, с приложением плана сей столицы, снятого в 1817 году. СПб., 1829. – *Сост.*

⁷⁰ Имеется в виду книга: Картина войн России с Турциею в царствование Екатерины II и императора Александра I. Сочинение генерал-майора Д. П. Бутурлина / Пер. с франц. СПб., 1829. Ч. 1–2. – *Сост.*

⁷¹ Романтическая повесть Н. А. Полевого. – *Сост.*

⁷² Повесть М. П. Погодина. – *Сост.*

⁷³ Упомянутый сатирический роман В. Т. Нарезного был написан в 1818 г., но из-за цензурных соображений был опубликован только после смерти автора. *Прежние романы... Нарезного* – «Российский Жилбаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814. Ч. 1–3), «Аристион, или Перевоспитание» (1822), «Два Ивана...» и др. – *Сост.*

⁷⁴ Писатель так называемого *торгашеского* направления в литературе. Известен своей враждебностью к прогрессивным писателям, многочисленным доносам, идейной беспринципностью и недобросовестностью. Был автором морализаторских романов «Иван Выжигин» (1829), «Петр Иванович Выжигин» (1831) и др. – *Сост.*

⁷⁵ Книги «О клопах» вышла в прошлом году несколько тысяч экземпляров. – *И. К.*

⁷⁶ Имеется в виду кн.: Страдания Вертера / С нем. Р... М., 1828–1829. Ч. 1–2. Переводчиком романа был Н. М. Рожалин. – *Сост.*

⁷⁷ «История древней и новой литературы» Ф. Шлегеля (СПб., 1829–1830. Ч. 1–2) вышла в переводе В. Д. Комовского. – *Сост.*

Странная неприличность полемики составляла отличительный характер наших журналов прошедшего года. Мы надеемся, однако, что это скоро утомит нашу публику и что она скоро захочет видеть в наших литераторах кое-что кроме двуногих животных с перьями.

Обозрение особенных качеств каждого из наших журналов не входит в план этой статьи. Заметим однако, что «Телеграф»⁷⁸ был богаче других хорошими, дельными статьями и более других передавал нам любопытного из журналов иностранных, «Северная пчела»⁷⁹ была свежее других политическими новостями, «Атеней»⁸⁰ менее других участвовал в неприличных полемиках, «Славянин»⁸¹ неприличность брани усилил до поэзии.

Заметим еще одно качество, общее почти всем журналам нашим, – странный слог, которым пишутся многие оригинальные и большая часть переводных статей, слог неточный, шершавый и часто хуже того, которым писали у нас прежде Карамзина и Дмитриева⁸². Может быть, это одна из главных причин, почему люди со вкусом почти не читают наших журналов, ибо для образованного слуха нет ничего тяжелее фальшивых тонов.

«Северные цветы» были без сравнения лучшим из всех альманахов. В «Невском альманахе» заметим прозаическую статью «Ливония», сочинение неизвестного⁸³, – если бы наше обозрение было писано тем же пером, которое начертало «Ливонию», то мы печатали бы его без боязни неуспеха.

Другие альманахи – но что пользы нам знать, что те или другие статьи печатались в том, а не в другом периодическом издании? Объяснит ли это сколько-нибудь характер нашей литературы?

До сих пор рассматривали мы словесность нашу в отношении к ней самой и потому с любопытством останавливались на каждом произведении, которое открывает нам новую сторону нашего литературного характера или подает новую надежду в будущем. Здесь все казалось нам важным, все достойным внимания, как семена, из коих со временем созреет плод.

Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств, если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: «Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?» – Что будем отвечать ему?⁸⁴

Мы укажем ему на «Историю Российского государства», мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова, и – где еще найдем мы произведение достоинства европейского?

Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть благо, залог всех других, у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества!

⁷⁸ «Телеграф» – журнал «Московский телеграф», который издавал в 1825–1834 гг. Н. А. Полевой. – *Сост.*

⁷⁹ Газета «Северная пчела», издаваемая Ф. Булгариным, благодаря близости издателя к официальным кругам, получила монопольное право на печатанье политических новостей. – *Сост.*

⁸⁰ «Атеней. Журнал наук, искусств и изящной словесности», издавался в Москве в 1828–1830 гг. профессором М. Г. Павловым. – *Сост.*

⁸¹ «Славянин» – еженедельный журнал, издавался А. Ф. Воейковым в 1827–1830 гг. в Санкт-Петербурге. Полемические материалы «Славянина» часто затрагивали личности литературных противников, отличались резкостью и злой насмешливостью (особенно в отделе «Хамелеонистики»). – *Сост.*

⁸² Здесь имеется в виду И. И. Дмитриев. – *Сост.*

⁸³ Автором статьи «Ливония (отрывки)» (Невский альманах на 1829 год) был писатель-романист А. А. Бестужев-Марлинский, декабрист, отбывавший ссылку. – *Сост.*

⁸⁴ Данная здесь И. В. Киреевским образная формула представления России перед судом европейской цивилизации будет почти в тех же выражениях воспроизведена Ф. М. Достоевским в 1877 г. в «Дневнике писателя»: «Она <Европа> спросит нас: “где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас? Где ваша наука, ваше искусство, ваша литература?”» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений. М.—Л., 1929. Т. 12. С. 206). – *Сост.*

Венец просвещения европейского служил колыбелью для нашей образованности, она рождалась, когда другие государства уже доканчивали круг своего умственного развития, и где они остановились, там мы начинаем. Как младшая сестра в большой, дружной семье, Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших.

Взгляните теперь на все европейские народы: каждый из них уже совершил свое назначение, каждый выразил свой характер, пережил особенность своего направления, и уже ни один не живет отдельною жизнью: жизнь *целой* Европы поглотила самостоятельность всех *частных* государств.

Но для того чтобы *целое* Европы образовалось в стройное, органическое тело, нужно ей особенное средоточие, нужен народ, который бы господствовал над другими своим политическим и умственным перевесом. Вся история новейшего просвещения представляет необходимость такого господства: всегда одно государство было, так сказать, *столицею* других, было *сердцем*, из которого выходит и куда возвращается вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов.

Италия, Испания, Германия (во время Реформации), Англия и Франция попеременно управляли судьбою европейской образованности. Развитие внутренней силы было причиною такого господства, а упадок силы причиною его упадка.

Англия и Германия находятся теперь на вершине европейского просвещения, но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарилась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною.

Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершенствование равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки да изредка блестит холодный блуждающий огонек.

Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении, два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.

Но отдаленность местная и политическая, а более всего односторонность английской образованности Соединенных Штатов – всю надежду Европы переносят на Россию.

Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему характер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу.

К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политические интересы и самое географическое положение нашей земли.

Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других – судьба России зависит от одной России.

Но судьба России заключается в ее просвещении: оно есть условие и источник *всех* благ. Когда же эти *все* блага будут *нашими* – мы ими поделимся с остальною Европою и весь долг наш заплатим ей сторицею.

§ 4. Обзорение русской словесности за 1831 год⁸⁵

Наша литература – ребенок, который только начинает чисто выговаривать.

⁸⁵ Написано в 1832 г. Первая публикация: *Европеец*. 1832. Ч. 1. № 1. С. 102–115. № 2. С. 259–269. – *Сост.*

Несмотря на то, ни в какой земле текущая словесность не имеет такой значительности, как в России и, между тем как в других государствах литература есть одно из второстепенных выражений образованности, у нас она главнейшее, если не единственное⁸⁶.

Быстрота и важность государственных переломов; деятельное участие, которое обязаны принимать в них люди частные, повсеместная борьба политических и к ним примкнувших религиозных партий, их противоположные выгоды и разногласные требования, успехи и распространенность промышленности, связавшие ее перевороты с целым составом народного бытия, – все, даже самые первые стихии частной жизни почти во всех странах Европы сосредоточивают деятельность умов на *дела государственные*, которые потому могут одни служить полным представителем общественной образованности, указателем господствующего направления и зеркалом текущей минуты.

Самые науки, при таком расположении умов, не могут занимать в них первого места. К тому же, созревшие вековым развитием, они уже сами собою склоняются к жизни действительной, являясь пред обществом то как сила, то как орудие политической деятельности.

Только относительная значительность остается для литературы. Но та часть ее, которая не задавлена влиянием политики, – литература *чистая*, самоценная, едва заметна посреди всеобщего стремления к делам более существенным: она цветет бледно и болезненно, как цветок осенний, благоухающий для охотников, но не возбуждающий в уме ни надежды на плод, ни доверенности к плодovitости дерева.

В России напротив. Литература наша в первой весне: каждый цвет ее пророчит новый плод и обнаруживает новое развитие. Между тем как в других государствах дела государственные, поглощая все умы, служат главным мериллом их просвещения, у нас неусыпные попечения прозорливого правительства избавляют частных людей от необходимости заниматься политикой, и таким образом единственным указателем нашего умственного развития остается литература. Вот почему в России следовать за ходом словесности необходимо не только для литераторов, но и для каждого гражданина, желающего иметь какое-нибудь понятие о нравственном состоянии своего отечества.

Заметим ли мы усовершенствование вкуса в произведениях литературных? Мы вправе заключить, что есть публика образованная, следовательно, мыслящая и в своих мнениях не отстающая от века. Увидим ли мы счастливый успех произведения невежественного, бездарного? Мы порадуемся ему, предполагая, что самая необразованная часть русских читателей начинает быть публикою и, следовательно, просыпается от своего умственного бездействия. Услышим ли мы жалобы на то, что книги без достоинства расходятся не только успешно, но еще успешнее книг с достоинством? Мы порадуемся вдвое, видя, что нам готовится в будущем еще больше людей просвещенных, нежели сколько мы имеем теперь.

Так, если самая бездарность в нашей литературе может доставить нам любопытные сведения о нашей первоначальной образованности – сколько же *данных* о нашем просвещении вообще, сколько новых показаний об отношениях нашей литературы к обществу и к чужеземным влияниям, сколько предзнаменований о характере наших будущих успехов открывается внимательному наблюдателю в изучении наших писателей первоклассных, которых каждое слово служит образцом для всего строя рядовых литераторов и каждое произведение отзывается участием отборнейшего круга читателей.

Таким образом, рассматривая замечательные литературные события прошедшего года, мы будем стараться определить настоящую степень нашего литературного развития и вместе открыть отношение нашей образованности вообще к успехам нашей словесности в особенно-

⁸⁶ В этом убеждении И. В. Киреевский был близок многим литераторам 1820-х гг.; отчетливее всего оно было выражено П. В. Киреевским: «Я давно уверен был, что важнейшей дорогою к цели для русского должно быть слово, которому впоследствии предназначено *воплотиться и быть испушителем*» (Из письма. 1829 г.). – *Сост.*

сти. Прежде всего рассмотрим три важнейшие явления нашей поэзии, и в том порядке, в каком они выходили в свет: «Бориса Годунова» Пушкина, «Наложницу» Баратынского и собрание баллад и повестей Жуковского. Потом скажем несколько слов о других произведениях нашей словесности, замечательных либо по внутреннему достоинству, либо по посторонним отношениям. Что же касается до тех произведений литературы, которые, не обнаруживая развития, свидетельствуют только о распространении словесности в кругах полуобразованных или едва начинающих образовываться, то вряд ли нужно об них много распространяться. Довольно нам знать для нашего утешения, что теперь, так же как и прежде, мы не бедны ни дурными сочинениями, ни бездарными писателями, которые воспитывают неопытных читателей и так же необходимы для будущего просвещения, как необходимо удобрение земли для будущего урожая.

«Борис Годунов»

Каждый народ, имеющий свою трагедию, имеет и свое понятие о трагическом совершенстве. У нас еще нет ни того, ни другого. Правда, что, когда французская школа у нас господствовала, мы думали иметь образца в Озере⁸⁷, но с тех пор вкус нашей публики так изменился, что трагедии Озерова не только не почитаются образцовыми, но вряд ли из десяти читателей один отдаст ему половину той справедливости, которую он заслуживает; ибо оценить красоту, начинающую увядать, еще труднее, чем отдать справедливость совершенной древности или восхищаться посредственностью новою; и я уверен, что большая часть наших самозванцев-романтиков готова променять все лучшие создания Расина на любую морлакскую песню⁸⁸.

Чего же требуем мы теперь и чего должны мы требовать от трагедии русской? Нужна ли нам трагедия испанская? Или немецкая? Или английская? Или французская? Или чисто греческая? Или составная из всех сих родов? И какого рода должен быть сей состав? Сколько каких элементов должно входить в нее? И нет ли элемента нам исключительно свойственного?

Вот вопросы, на которые критик и публика могут отвечать только отрицательно, прямой ответ на них принадлежит одному поэту, ибо ни в какой литературе правила вкуса не предшествовали образцам. Не чужие уроки, но собственная жизнь, собственные опыты должны научить нас мыслить и судить. Покуда мы довольствуемся общими истинами, не примененными к особенности нашего просвещения, не извлеченными из коренных потребностей нашего быта, до тех пор мы еще не имеем своего мнения либо имеем ошибочное; не ценим хорошего-приличного потому, что ищем невозможного-совершенного, либо слишком ценим недостаточное потому, что смотрим на него из дали общей мысли и вообще меряем себя на чужой аршин и твердим чужие правила, не понимая их местных и временных отношений.

Это особенно ясно в истории новейшей литературы, ибо мы видим, что в каждом народе рождению собственной словесности предшествовало поклонение чужой, уже развившейся. Но если первые поэты были везде подражателями, то естественно, что первые судьи их держались всегда чужого кодекса и повторяли наизусть чужие правила, не спрашиваясь ни с особенностями своего народа, ни с его вкусом, ни с его потребностями, ни с его участием. Не менее естественно и то, что для таких судей лучшими произведениями казались всегда произведения посредственные, что лучшая часть публики никогда не была на их стороне и что явление истинного гения не столько поражало их воображение, сколько удивляло их ум, смешивая все расчеты их прежних теорий.

⁸⁷ В. А. Озеров был автором близких к классицизму трагедий «Эдип в Афинах», «Дмитрий Донской», «Поликсена» и др. Именно это имеет в виду И. В. Киреевский, сближая Озерова с *французской школой*. – *Сост.*

⁸⁸ Морлаки – малая славянская народность, живущая в Далматинских горах (территория современной Хорватии). – *Сост.*

Только тогда, когда новые поколения, воспитанные на образцах отечественных, получают самобытность вкуса и твердость мнения, независимого от чужеземных влияний, только тогда может критика утвердиться на законах верных, строгих, общепринятых, благодетельных для последователей и страшных для нарушителей. Но до тех пор приговор литературным произведениям зависит почти исключительно от особенного вкуса особенных судей и только случайно сходится с мнением образованного большинства.

Вот одна из причин, почему у нас до сих пор еще нет критики⁸⁹. Да я не знаю ни одного литературного суждения, которое бы можно было принять за образец истинного воззрения на нашу словесность. Не говоря уже о критиках, внушенных пристрастием, не говоря о безотчетных похвалах или порицаниях друзей и недругов, – возьмем те суждения об литературе нашей, которые составлены с самою большею отчетливостью и с самым меньшим пристрастием, и мы везде найдем зависимость мнения от влияния словесностей иностранных. Тот судит нас по законам, принятым в литературе французской, тот образцом своим берет литературу немецкую, тот английскую и хвалит все, что сходно с его идеалом, и порицает все, что не сходно с ним. Одним словом, нет ни одного критического сочинения, которое бы не обнаруживало пристрастия автора к той или другой иностранной словесности, пристрастия по большей части безотчетного, ибо тот же критик, который судит писателей наших по законам чужим, обыкновенно сам требует от них национальности и укоряет за подражательность.

Самым лучшим подтверждением сказанного нами могут служить вышедшие до сих пор разборы «Бориса Годунова». Иной критик, помня Лагарпа⁹⁰, хвалит особенно те сцены, которые более напоминают трагедию французскую, и порицает те, которым не видит примера у французских классиков. Другой, в честь Шлегеля, требует от Пушкина сходства с Шекспиром⁹¹ и упрекает за все, чем поэт наш отличается от английского трагика, и восхищается только тем, что находит между обоими общего. Каждый, по-видимому, приносит свою систему, свой взгляд на вещи, и ни один, в самом деле, не имеет своего взгляда, ибо каждый занял его у писателей иностранных, иногда прямо, но чаще понаслышке. И эта привычка смотреть на русскую литературу сквозь чужие очки иностранных систем до того ослепила наших критиков, что они в трагедии Пушкина не только не заметили, в чем состоят ее главные красоты и недостатки, но даже не поняли, в чем состоит ее содержание.

В ней нет единства, – говорят некоторые из критиков, – нет поэтической гармонии, ибо главное лицо, Борис, *заслонено* лицом второстепенным, Отрепьевым.

Нет, – говорят другие, – главное лицо не Борис, а Самозванец; жаль только, что он не довольно развит и что не весь интерес сосредоточивается на нем, ибо где нет единства интереса, там нет стройности.

Вы ошибаетесь, – говорят третьи, – интерес не *должен* сосредоточиваться ни на Борисе, ни на Самозванце. Трагедия Пушкина есть трагедия *историческая*, следовательно, не страсть, не характер, не лицо должны быть главным ее предметом, но целое время, *век*. Пушкин то и сделал: он представил в трагедии своей верный очерк века, сохранил все его краски, все особенности его цвета. Жаль только, что эта картина начертана поверхностно и не полно, ибо в ней забыто многое характеристическое и развито многое лишнее, например, характер Марины и т. п. Если бы Пушкин понял глубже время Бориса, он бы представил его полнее и ощутительнее, то есть, другими словами, подражая более Шекспиру, Пушкин более удовлетворил бы требованиям Шлегеля. Но забудем на время наших критиков, и Шекспира, и Шлегеля, и все

⁸⁹ Такое же мнение неоднократно высказывал и А. С. Пушкин, предъявлявший критике высокие идейно-эстетические требования. – *Сост.*

⁹⁰ Ж. Ф. Лагарп был сторонником классической эстетики. – *Сост.*

⁹¹ И. В. Киреевский имеет в виду суждения Ф. Шлегеля, высказанные в работах «Об изучении греческой поэзии», «История древней и новой литературы», где Шекспир рассматривается как высочайший образец художественного творчества. – *Сост.*

теории трагедий; посмотрим на Бориса Годунова глазами, не предубежденными системою, и, не заботясь о том, что *должно* быть средоточием трагедии, – спросим самих себя: что составляет главный предмет создания Пушкина?

Очевидно, что и Борис, и Самозванец, и Россия, и Польша, и народ, и царедворцы, и монашеская келья, и государственный совет – все лица и все сцены трагедии развиты только в *одном отношении*: в отношении к последствиям цареубийства. Тень умерщвленного Димитрия царствует в трагедии от начала до конца, управляет ходом всех событий, служит связью всем лицам и сценам, расставляет в одну перспективу все отдельные группы и различным краскам дает один общий тон, один кровавый оттенок. Доказывать это значило бы переписать всю трагедию.

Но если убийство Димитрия с его государственными последствиями составляет главную нить и главный узел создания Пушкина, если критики, несмотря на то, искали средоточия трагедии в Борисе, или в Самозванце, или в жизни народа и т. п., то очевидно, что они по *совести* не могли быть довольны поэтом и должны были находить в нем и нестройность, и неполноту, и мелкость, и незрелость, ибо при таком отношении судей к художнику чем более гармонии в творении последнего, тем оно кажется разногласнее для первых, как верно рассчитанная перспектива для избравшего ложный фокус.

Но если бы вместо *фактических* последствий цареубийства Пушкин развил нам более его психологическое влияние на Бориса, как Шекспир в Макбете; если бы вместо русского монаха, который в темной келье произносит над Годуновым приговор судьбы и потомства, поэт представил нам шекспировских ведьм⁹², или Мюльнерову волшебницу-цыганку⁹³, или пророческий сон

Pendant l'horreur d'une profonde nuit⁹⁴,

тогда, конечно, он был бы скорее понят и принят с большим восторгом. Но чтобы оценить Годунова, как его создал Пушкин, надобно было отказаться от многих ученых и школьных предрассудков, которые не уступают никаким другим ни в упорности, ни в односторонности.

Большая часть трагедий, особенно новейших, имеет предметом дело совершающееся или долженствующее совершиться. Трагедия Пушкина развивает последствия дела уже совершенного, и преступление Бориса является не как *действие*, но как сила, как мысль, которая обнаруживается мало-помалу то в шепоте царедворца, то в тихих воспоминаниях отшельника, то в одиноких мечтах Григория, то в силе и успехах Самозванца, то в ропоте придворном, то в волнениях народа, то, наконец, в громком ниспровержении несправедливо царствовавшего дома. Это постепенное возрастание коренной мысли в событиях разнородных, но связанных между собою одним источником дает ей характер сильно трагический и таким образом позволяет ей заступить место господствующего лица, или страсти, или поступка.

Такое трагическое воплощение мысли более свойственно древним, чем новейшим. Однако мы могли бы найти его и в новейших трагедиях, например, в «Мессинской невесте»⁹⁵, в «Фаусте», в «Манфреде»⁹⁶, но мы боимся сравнений: где дело идет о созидании нового, пример легче может сбить, чем навести на истинное воззрение.

Согласимся однако, что такого рода трагедия, где главная пружина не страсть, а мысль, по сущности своей не может быть понята большинством нашей публики, ибо большинство

⁹² Ведьмы появляются в «Макбете» с предсказаниями о судьбе героя. – *Сост.*

⁹³ В трагедии Мюльнера «Вина» упоминается пророчество цыганки. – *Сост.*

⁹⁴ Во мраке глубокой ночи (*фр.*). Цитата из трагедии Ж. Расина «Гофолия» (Действие второе. Явление пятое). – *Сост.*

⁹⁵ «Мессинская невеста» – трагедия Ф. Шиллера (1803). – *Сост.*

⁹⁶ «Манфред» – философско-символическая поэма Байрона (1817). – *Сост.*

у нас не толпа, не народ, наслаждающийся безотчетно, а господа читатели, почитающие себя образованными: они, *наслаждаясь*, хотят вместе *судить* и боятся прекрасного-непонятого как злого искусителя, заставляющего чувствовать против совести. Если бы Пушкин, вместо Годунова, написал эсхиловского «Прометей»⁹⁷, где также развивается воплощение мысли и где еще менее *ощутительной* связи между сценами, то, вероятно, трагедия его имела бы еще меньше успеха и ей не только бы отказали в праве называться *трагедией*, но вряд ли бы признали в ней какое-нибудь достоинство, ибо она написана ясно против всех правил новейшей драмы. Я не говорю уже об нас, бедных критиках; наше положение было бы тогда еще жальче: напрасно ученическим помазком старались бы мы расписывать красоты великого мастера – нам отвечали бы одно: «Прометей» не трагедия, это стихотворение беспримерное, какого нет ни у немцев, ни у англичан, ни у французов, ни даже у испанцев, – как же вы хотите, чтобы мы судили об ней? На чье мнение можем мы сослаться? Ибо известно, что нам самим

Не должно сметь
Свое суждение иметь⁹⁸.

Таково состояние нашей литературной образованности. Я говорю это не как упрек публике, но как *факт* и более как упрек поэту, который не понял своих читателей. Конечно, в «Годунове» Пушкин выше своей публики, но он был бы еще выше, если б был общепонятнее. Своевременность столько же достоинство, сколько красота, и «Прометей» Эсхила в наше время был бы анахронизмом, следовательно, ошибкою.

Мы еще воротимся к трагедии Пушкина, когда будем говорить о русской литературе вообще.

«Наложница»

Поэма Баратынского имела в литературе нашей ту же участь, какую и трагедия Пушкина: ее так же не оценили, так же не поняли, так же несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, так же хвалили его из снисхождения к прежним заслугам и с таким тоном покровительства, который Гете, из деликатности, не мог бы принять, говоря о писателях едва известных. И под этими протекторскими обзорами, под этими учительскими порицаниями и советами большая часть критиков не удостоила даже подписать своего имени.

Такого рода литературное самоуправство нельзя не назвать по крайней мере странным. Но оно покажется еще страннее, когда мы вспомним, что те же самые критики, которые поступали таким образом с Баратынским, большую половину статей своих о его поэме наполнили рассуждениями о нравственных и литературных приличиях.

Мы припомним это обстоятельство, говоря о характере литературы нашей вообще; теперь обратимся к самой поэме⁹⁹.

По моему мнению, «Наложница» отличается от других поэм Баратынского большею зрелостью в художественном исполнении. Объяснимся.

⁹⁷ «Прометей» – трагедия Эсхила «Прикованный Прометей». – *Сост.*

⁹⁸ Реплика Молчалина из комедии А. С. Грибоедова «Горя от ума»: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь» (Действие третье. Явление третье). – *Сост.*

⁹⁹ Большая часть критиков «Наложницы» опровергали сами себя и друг друга, но самый полный разбор поэмы, самые благовидные обвинения, самое отчетливое опровержение присовокупленного к ней предисловия находятся в разборе «Наложницы», напечатанном в 10 номере «Телескопа». В конце этой книжки «Европейца» читатели найдут ответ на этот разбор, и он же может служить ответом и на остальные критики поэмы Баратынского. – *И. К.* Упомянутый разбор «Наложницы» (Телескоп. 1831. Ч. 3. № 10) был написан Н. И. Надеждиным. Ответом на него была «Антикритика» Е. Баратынского, напечатанная в «Европейце» (1832. Ч. 1. № 2) без подписи. – *Сост.*

Читая «Эдду», мы проникнуты одним чувством, глубоким, грустным, поэтически-молодым, но за то и молодо-неопределенным. Воображение играет согласно с сердцем, в душе остаются яркие звуки, но в целом создании чего-то недостает, и есть что-то недосказанное, что-то неконченное, как в первом порыве чувства, еще не объясненного воспоминаниями. Наружная отделка «Эдды» имеет недостатки такого же рода: поэт часто увлекается одним чувством, одним описанием, прекрасным *отдельно*, но не всегда необходимым в отношении к целому созданию. Одним словом, в поэме не все средства клонятся к одной цели, хотя главное чувство развито в ней сильно и увлекательно.

В «Бальном вечере», напротив того, стройность и гармония частей не оставляют ничего желать в художественном отношении. Все соразмерено, все на месте, каждая картина имеет надлежащий объем, каждому описанию показаны свои границы. Но, несмотря на эту мерность частей, господствующее чувство проистекает из них не довольно ясно и звучно; и если в «Эдде» недостает пластической определенности и симметрии, то в «Бальном вечере» мы хотели бы видеть более лирического единства и увлекательности.

То и другое соединено в «Наложнице», где главной мысли соответствует одно чувство, выраженное ясно и сильно, развитое в событиях, соответственных ему и стройно соразмеренных.

Но эта художественная зрелость, которою отличается последняя поэма Баратынского от прежних, не составляет еще главного достоинства изящных произведений. Художественное совершенство, как образованность, есть качество второстепенное и относительное; иногда оно, как маска на скелете, только прикрывает внутреннюю безжизненность; иногда, как лицо благородной души, оно служит ее зеркалом и выражением, но во всяком случае его достоинство не самобытное и зависит от внутренней, его одушевляющей поэзии. Потому чтобы оценить, как должно, поэму Баратынского, постараемся определить общий характер его поэзии и посмотрим, как она выразилась в его последнем произведении.

Музу Баратынского можно сравнить с красавицею, одаренною душою глубокою и поэтической, красавицею скромною, воспитанной и столь приличной в своих поступках, речах, нарядах и движениях, что с первого взгляда она покажется обыкновенною; толпа может пройти подле нее, не заметив ее достоинства, ибо в ней все просто, все соразмерено, и ничто не бросается в глаза ярким отличием, но человек с душевную проницательностью будет поражен в ней именно теми качествами, которых не замечает толпа¹⁰⁰.

Вот отчего нередко случается нам встречать людей образованных, которые не понимают всей красоты поэзии Баратынского и которые, вероятно, нашли бы его более по сердцу, если бы в его стихах было менее простоты и обдуманности, больше шуму, больше оперных возгласов и балетных движений, точно так же, как в половине прошедшего века английская публика не могла сочувствовать с Заирою, видя, что при упреках Орозмана она только плачет, и актриса, игравшая ее роль, желая произвести больше эффекта, должна была кричать и кататься по полу¹⁰¹.

Но эта обдуманность и мерность, эта благородная простота и художественная законченность, которыми отличаются произведения Баратынского, не составляют случайного украшения стихов его; они происходят из самой сущности его поэзии, которая, так же, как поэзия Батюшкова, дышит единственно любовью к соразмерностям и к гармонии. Вся правда жизни

¹⁰⁰ В этом абзаце И. В. Киреевский дает парафраз стихотворения Е. Баратынского «Муза» (1829), в котором поэт характеризует собственное творчество. – *Сост.*

¹⁰¹ Le sultan, – говорит Вольтер, – n'est point ému de la voir dans cette posture ridicule et de désespoir, et le moment après il est tout étonné que Zaire pleure. Il lui dit cet hémistiche: – Zaire, vous pleurez! Il aurait du lui dire auparavant: – Zaire, vous vous roulez par terre! – И. К. Султан, – говорит Вольтер, – не был взволнован, увидев ее в этой смешной и отчаянной позе. Он обращается к ней: – Заира, вы плачете! В то время как он должен был бы ей сказать: – Заира, вы катаетесь по земле! (*фр.*) Цитата из второго письма Вольтера А. М. Фолькнеру, опубликованного во 2-м издании трагедии Вольтера «Заира» — *Сост.*

представляется нам в картинах Баратынского в перспективе поэтической и стройной; самые разногласия являются в ней не расстройством, но музыкальным диссонансом, который разрешается в гармонии. Оттого, чтобы дать простор сердцу, ему не нужно выдумывать себе небывалый мир волшебниц, привидений и животного магнетизма; в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу. Оттуда утверждение его, что все истинное, вполне представленное, не может быть ненравственное¹⁰²; оттого самые обыкновенные события, самые мелкие подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотрим на них сквозь гармонические струны его лиры. Бал, маскарад, непринятое письмо, пированье друзей, неодинокая прогулка, чтение альбомных стихов, поэтическое имя – одним словом, все случайности и все обыкновенности жизни принимают под его пером характер значительности поэтической, ибо тесно связываются с самыми решительными опытами души, с самыми возвышенными минутами бытия и с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаниями о любви и дружбе, о жизни и смерти, о добре и зле, о Боге и вечности, о счастье и страданиях, о их цели, следах и поэзии.

Эти возвышенные, сердечные созерцания, слитые в одну картину с ежедневными случайностями жизни, принимают от них ясную форму, живую определенность и грациозную ошутительность, между тем как самые обыкновенные события жизни получают от такого слияния глубину и музыкальность поэтического создания. Так часто, не унося воображения за тридевять земель, но оставляя его посреди обыкновенного быта, поэт умеет согреть его такою сердечною поэзией, такою идеальною грустью, что, не отрываясь от гладкого, вошеного паркета, мы переносимся в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную.

Это направление поэзии Баратынского яснее, чем в других поэмах, выразилось в его «Наложнице». Я не стану повторять здесь ее содержания, давно уже известного каждому из моих читателей. Замечу только, что в этой поэме нет ни одной сцены, которая бы не привела к чувству поэтическому, и нет ни одного чувства, которое бы не сливалось неразрывно с картиною из жизни действительной, – и эти картины говорят гораздо яснее всех возможных толкований. Вместо того чтобы описывать словами то тяжелое чувство смутной грусти, которое угнетало душу Елецкого посреди беспорядочной, развратной его жизни; вместо того чтобы рассказывать, как эта грязная жизнь не могла наполнить его благородного сердца и должна была возбудить в нем необходимость любви чистой и возвышенной, как эта новая любовь, освежая его душу, должна была противоречить его обыкновенному быту; вместо всех этих психологических объяснений поэт рисует нам сцены живые, которые говорят воображению и взяты из верного описания действительности: картину ночного пированья, его безобразные следы в комнате Елецкого, окно, открытое на златоглавый Кремль поутру, при восхождении солнца, гулянье под Новинским и встречу с Верою, маскарад, разговор с Сарою и пр. Иногда один стих вмещает целую историю внутренней жизни. Так, чтобы выразить любовь Елецкого, поэт описывает наружность Веры и прибавляет только:

Своими чистыми очами,
Своей спокойной красотой,
Столь благородным выраженьем
Сей драгоценной тишины,
*Она сходна была с виденьем
Его разборчивой весны*¹⁰³.

¹⁰² Это утверждение Е. Баратынский высказал в упомянутой выше «Антикритике» и в предисловии к отдельному изданию «Наложницы» (М., 1831), где писал, что правдивое изображение жизни *будет непременно нравственно*. – Сост.

¹⁰³ Курсив И. В. Киреевского. В цитате пропущена строка «Своими детскими устами». – Сост.

.....

Он встречается с Верою в театре:

Елецкий, сцену забывая,
С той ложи не сводил очей,
В которой Вера Волховская
Сидела, изредка встречая
Взор, остановленный на ней. —
Вкусив неполное свиданье,
Елецкий приходил домой
Исполнен мукою двойной;
Но, полюбив свое страданье,
Такой же встречи с новым днем
Искал в безумии своем.

Как несколько слов представляют весь характер Веры, и начало ее любви, и ее будущую участь:

Природа Веру сотворила
С живою, нежною душой;
Она ей чувствовать судила
С опасной в жизни полнотою.
Недавно дева молодая,
Красою свежею блистая,
Вступила в вихорь городской.
Она еще не рассудила,
Не поняла души своей;
Но темною мечтою в ней
Она уже проговорила.
Странна ей суетность была;
Она плениться не могла
Ее несвязною судьбиной;
Хотело б сердце у нее
Себе избрать кумир единой,
И тем осмыслить бытие.

Тут романические встречи
С героем повести моей

.....

Но судьба обманула сердце бедной Веры: жених ее погиб, все мечты счастья разрушены навсегда – и весь ужасный переворота в душе ее поэт рисует одною картиною, ощутительно ясною, глубоко обдуманною и вместе поразительно простою и обыкновенною:

В ту ж зиму с дядей-стариком
Покинув город, возвратилась
Она лишь два года потом.
Лицом своим не изменилась,

Блится тою же красой,
Но строже смотрит за собой.
В знакомство тесное не входит
Она ни с кем. Всегда отводит
Чуть-чуть короткий разговор.
Подчинены ее движенья
Холодной мере. Верин взор,
Не изменяя выраженья,
Не выражает ничего.
Блестящий юноша его
Не оживит, и нетерпенья
В нем не заметит старый шут.
Ее смешливые подруги
В нескромный смех не вовлекут,
Разделены ее досуги
Между роялем и канвой,
В раздумье праздном не видали
И никогда не заставляли
С романом Веры Волховской;
Девницей самой совершенной
В устах у всех она слывет.
Что ж эту скромность ей дает?
Увы! тоскою потаенной
Еще ль душа ее полна?
Еще ли носит в ней она
О прошлом верное мечтанье
И равнодушна ко всему,
Что не относится к нему,
Что не его воспоминанье?
Или, созрев умом своим,
Уже теперь постигла им
Она безумство увлеченья?
Уразумела, как смешно
И легкомысленно оно,
Как правы принятые мненья
О романических мечтах?
Или теперь в ее глазах,
За общий очерк, в миг забвенья
Полусвершенный ею шаг,
Стал детской шалостью одною,
И с утонченностью такою,
Осмотру светскому верна,
Его сама перед собою
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною
Страстей безвременной тиши —
Утрачен Верой молодую
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Это описание Веры служит одним из лучших примеров того, как самые обыкновенные явления в жизни действительной получают характер глубоко поэтический под пером Баратынского. Я не говорю уже об изображении Сары, лучшего, может быть, создания в целой поэме.

Однако, несмотря на все достоинства «Наложницы», нельзя не признаться, что в этом роде поэм, как в картинах Миериса,¹⁰⁴ есть что-то бесполезно стесняющее, что-то условно ненужное, что-то мелкое, не позволяющее художнику развить вполне поэтическую мысль свою. Уже самый объем поэмы противоречит возможности свободного излияния души, и для наружной стройности, для гармонии переходов, для соразмерности частей поэт часто должен жертвовать другими, более существенными качествами. Так, самая любовь к прекрасной стройности и соразмерности вредит поэзии, когда поэт действует в кругу, слишком ограниченном. Паганини, играя концерты на одной струне, имеет по крайней мере то самолюбивое утешение, что публика удивляется искусству, с которым он побеждает заданные себе трудности. Но многие ли способны оценить те трудности, с которыми должен бороться Баратынский?

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что публика наша до тех пор не поймет всей глубокости и всей поэзии оригинального взгляда на жизнь, которым отличается муза Баратынского, покуда он не представит его в произведении, более соответственном господствующему направлению его воображения. Баратынский, больше чем кто-либо из наших поэтов, мог бы создать нам поэтическую комедию¹⁰⁵, состоящую не из холодных карикатур, не из печальных острот и каламбуров, но из верного и вместе поэтического представления жизни действительной, как она отражается в ясном зеркале поэтической души, как она представляется наблюдательности тонкой и проницательной перед судом вкуса разборчивого, нежного и счастливо образованного.

§ 5. Несколько слов о слоге Вильмена¹⁰⁶

Предыдущая статья об императоре Иулиане¹⁰⁷ принадлежит к тем немногим произведениям Вильмена, где благородная простота слога не изукрашена кудреватой изысканностью выражений и оборотов. Ибо, говоря вообще, язык Вильмена не столько отличается красотой правильною, строгою и классически спокойною, сколько живою, прихотливою грациозностью, щеголеватой своеобразностью и часто изученною небрежностью. Это особенно заметно в его импровизированных лекциях, где литератор не имеет времени быть сочинителем и перерабатывать свои невольные внушения по законам отчетливого вкуса и где, следовательно, природный талант является со всеми особенностями своих красот и недостатков, как разбуженная красавица в утреннем неприборе. По той же причине, по которой Гизо на лекциях говорит больше дела и меньше фраз, чем в сочинениях, обделанных на досуге, по той же причине в импровизациях Вильмена больше фраз и меньше дела, чем в его творениях кабинетных. Зато фразы его, как удачный стих, как счастливая тема, остаются в памяти даже и тогда, когда они

¹⁰⁴ И. В. Киреевский имеет в виду голландского художника Ф. Мириса-старшего, чьи картины «Угощение устрицами», «Портрет дамы у стола» и др. мог видеть в Эрмитаже в 1830 г. Ф. Мирис тяготел к тщательной проработке живописных деталей интерьера. «Ваше сравнение Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно», – писал в связи с этим местом статьи А. С. Пушкин (4 февраля 1832). См.: Наст. изд. Т. 4. – *Сост.*

¹⁰⁵ В упомянутом выше письме А. Пушкин усомнился в том, что Е. Баратынский мог бы создать комедию. – *Сост.*

¹⁰⁶ Написано в 1832 г. Первая публикация: *Европеец*. 1832. Ч. 1. № 1. С. 48–51. Заметка была подготовлена после перевода статьи А. Ф. Вильмена «Император Иулиан». – *Сост.*

¹⁰⁷ Тот же литератор, которому мы обязаны переводом этой статьи, столько же правильно, изящно и близко передал на русский язык сочинение того же автора о христианском красноречии IV века. Сочинение это будет напечатано вместо предисловия к новому переводу «Избранных мест из святого Иоанна Златоуста», издаваемому г. Оболенским (переводчиком Платона и Геродиана) в пользу вдов и сирот духовного звания. См. 13 номер «Телескопа». – И. К. Статью А. Ф. Вильмена «Император Иулиан» перевел Д. С. Свербеев. В «Телескопе» (1831. Ч. 4. № 13) была напечатана статья «Христианское красноречие в IV веке. Из Вильмена». – *Сост.*

не выражают мысли новой или необыкновенной, хотя общая система мыслей Вильмена и нова и необыкновенна для Франции. Я говорю *система*, ибо не могу согласиться с теми, которые не находят ее во мнениях Вильмена. Да, несмотря на наружный беспорядок его мыслей, несмотря на небрежность его изложения, несмотря на кажущуюся легкость и случайность его положений, Вильмен имеет свою систему, и систему зрело обдуманную, ибо утверждения его нигде не противоречат одно другому; систему глубокую, ибо его мысли наравне с веком; систему твердо понятую и строго связанную, именно потому, что он может выражать ее так легко, так удопонятно и, по-видимому, так поверхностно: ясность есть последняя степень обдуманности.

На слог Вильмена более других французских писателей походит слог Бальзака, сочинителя «Последнего Шуана», «Картин из частной жизни» и пр. Бальзак так же, как Вильмень, любит удивлять неожиданностью оборотов, необыкновенностью выражений и необычным сцеплением разнозначительных эпитетов; он так же, как Вильмень, большую часть сравнений своих заимствует из жизни действительной и настоящей; он также позволяет себе иногда неправильность и нововведение для того, чтобы нарисовать мысль в ее живом цвете, с ее нежнейшими оттенками; но, несмотря на это сходство *манеры*, слог Бальзака, по моему мнению, отличается от слога Вильмена тем, что последний всегда почти верен чувству изящного приличия, между тем как первый, несмотря на весь талант свой, часто переступает за пределы грациозности в область неестественности. Вильмень скажет иногда фразу мишурную, но кстати; Бальзак повторит ту же фразу и часто не к месту. Вильмень иногда неправилен как литератор, но в самых неправильностях его вы видите человека со вкусом тонким и воспитанным посреди отборного общества; говоря мысль новую, для которой еще нет выражения, он скорее выберет оборот капризно разговорный, чем тяжело ученый, по такому же чувству приличия, по какому наши дамы, не находя русских слов, скорее решаются на галлицизм, чем на выражение славянское. Бальзак неправилен не меньше Вильмена, но неправильность его часто ничем не оправдывается, и его изысканность иногда оскорбляет не только вкус литератора, но и хороший вкус вообще, как слишком высокий прыжок танцующего не на театре.

Особенно примечательно в Вильмене то, что, не зная по-немецки, он в своих основных мыслях и особенно в их литературных применениях, почти всегда сходится с мыслями, господствующими в Германии. По моему мнению, это одно могло бы доказать нам, что познание немецкой литературы значительно распространено между образованными французами, что результаты немецкого мышления обращаются там как монета, более или менее знакомая каждому, хотя еще новая и не всеми принимаемая, подобно нашим деньгам из платины.

§ 6. «Горе от ума» – на Московском театре¹⁰⁸

В конце прошедшего года поставлена на Московский театр известная комедия покойного А. С. Грибоедова «Горе от ума»¹⁰⁹, и, несмотря на то что актеры играли дурно и ни один из них, не исключая даже г. Щепкина, не понял своей роли; несмотря на то что комедия была уже давно знакома большей части зрителей, ибо нет уезда в европейской России, нет армейского полка, где бы ее не знали наизусть; несмотря на то что она не имеет собственно драматических и театральных достоинств и лучше в простом чтении, чем на сцене; несмотря на то, наконец, что московская публика видела в ней собственную свою карикатуру, – театр был почти полон в продолжение трех или четырех раз ее представления. Доказывает ли это беспристрастие московской публики? Или наша насмешливость сильнее нашего самолюбия? Или, может быть, мы смотрели на сцену с таким же добрым простодушием, с каким известная обезьяна, глядясь в зеркало, говорила медведю:

¹⁰⁸ Написано в 1832 г. Первая публикация: *Европеец*. 1832. Ч. 1. № 1. С. 135–141. – *Сост.*

¹⁰⁹ Премьера комедии в Москве состоялась 27 ноября 1831 г. – *Сост.*

Смотри-ка, Мишенька: что это там за рожа?¹¹⁰

Правда, оригиналы тех портретов, которые начертал Грибоедов, уже давно не составляют большинства московского общества, и хотя они созданы и воспитаны Москвою, но уже сама Москва смотрит на них, как на редкость, как на любопытные развалины другого мира. Но главный характер московского общества вообще не переменялся. Философия Фамусова и теперь еще кружит нам головы¹¹¹; мы и теперь так же, как в его время, хлопочем и суедемся из ничего, кланяемся и унижаемся бескорыстно и только из удовольствия кланяться, ведем жизнь без цели, без смысла, сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления, ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться. И теперь так же, как при Фамусове, дома наши равно открыты для всех: для званных и незванных, для честных и для подлецов. Связи наши состояются не сходством мнений, не подобием характеров, не одинакою целью в жизни и даже не сходством нравственных правил, ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай нас сводит, случай разводит и снова сближает, без всяких последствий, без всякого значения.

Эта пустота жизни, это равнодушие ко всему нравственному, это отсутствие всякого мнения и вместе боязнь пересудов, эти ничтожные отношения, которые истощают человека по мелочам и делают его неспособным ко всему стройно дельному, ко всему возвышенному и достойному труда *жить*, – все это дает московскому обществу совершенно особенный характер, составляющей середину между уездным кумовством и безвкусицей и столичною искательностью и роскошью. Конечно, есть исключения, и, может быть, их больше, чем сколько могут заметить проходящие: есть общества счастливо отборные, заботливо охраняющие себя от их окружающей смещенности и душного ничтожества; есть люди, которые в кругу тихих семейных отношений, посреди бескорыстных гражданских обязанностей развивают чувства возвышенные вместе с правилами твердыми и благородными; есть люди, постигшие возможность цели высокой посреди всеобщей пустоты и плоскости; люди, умеющие создавать себе наслаждения просвещенные и роскошествовать с утонченностью и вкусом; но эти люди, эти общества далеко не составляют большинства, и если бы они захотели принять на себя бесполезную и молодо странную откровенность *Чацкого*¹¹², то так же, как он, явились бы пугалищем собраний, существом несносным, неприличным и сумасшедшим.

Однако и самые исключения, находящиеся в беспрестанной борьбе с большинством, не могут совершенно охраниться от его заразительности и невольно более или менее разделяют его недостатки. Так почти нет дома в Москве, который бы чем-нибудь не обнаружил просвещенному иностранцу нашей недообразованности, и если не в гостиной, не в кабинете, то хотя в прихожей найдет он какое-нибудь разногласие с европейским бытом и согласие с бытом московским.

Естественно, что это имеет влияние и на самого хозяина, и потому совершенно справедливо, что

На всех московских есть особый отпечаток.

Вот в чем состоит главная мысль комедии Грибоедова, мысль, выраженная сильно, живо и с прелестью поразительной истины. Каждое слово остается в памяти неизгладимо, каждый портрет прирастает к лицу оригинала неотъемлемо, каждый стих носит клеймо правды и кипит огнем негодования, знакомого одному таланту.

¹¹⁰ Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна». – *Сост.*

¹¹¹ Пофилософствуй, ум вскружится: Ешь три часа, а в три дня не сварится! – *И. К.*

¹¹² Эту сторону в образе Чацкого отмечал и А. С. Пушкин в письме А. А. Бестужеву в конце января 1825 г.: «Все, что говорит он, – очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно». Сходное мнение высказал и О. Сомов (Сын Отечества. 1825. Ч. 101. № 10). – *Сост.*

Но есть в той же комедии другая мысль, которая, по моему мнению, если не противоречит господствующей, то по крайней мере доказывает, что автор судил о Москве более как *свидетель*, страстно взволнованный, нежели как *судья*, равнодушно мыслящий и умеющий, даже осуждая, отличать хорошее от дурного. Может быть, это не вредит произведению искусства, не вредит истине художественной, но вредит истине практической и нравственной. Мысль, о которой я говорю, заключается в негодовании автора на нашу любовь к иностранному. Правда, эта любовь часто доходит до смешного и бессмысленного, дурно направленная, она часто мешает нашему собственному развитию, но злоупотребления вещи не уничтожают ее достоинства. Правда, мы смешны, подражая иностранцам, но только потому, что подражаем неловко и не вполне, что из-под европейского фрака выглядывает остаток русского кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица. Но странность нашей подражательности пройдет при большем распространении просвещения, а просвещение у нас распространиться не может иначе, как вместе с распространением иностранного образа жизни, иностранного платья, иностранных обычаев, которые сближают нас с Европою *физически* и, следовательно, способствуют и к нашему нравственному и просвещенному сближению. Ибо кто не знает, какое влияние имеет наружное устройство жизни на характер образованности вообще? Нам нечего бояться утратить своей национальности: наша религия, наши исторические воспоминания, наше географическое положение – вся совокупность нашего быта столь отличны от остальной Европы, что нам физически невозможно сделаться ни французами, ни англичанами, ни немцами. Но до сих пор национальность наша была национальность необразованная, грубая, китайски-неподвижная. Просветить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развития может только влияние чужеземное; и как до сих пор все просвещение наше заимствовано извне, так только извне можем мы заимствовать его и теперь и до тех пор, покуда поравняемся с остальною Европою. Там, где *обще-европейское* совпадет с нашею *особенностью*, там родится просвещение истинно русское, образованно национальное, твердое, живое, глубокое и богатое благодетельными последствиями. Вот от чего наша любовь к иностранному может иногда казаться смешною, но никогда не должна возбуждать негодования, ибо более или менее, посредственно или непосредственно она всегда ведет за собой просвещение и успех и в самых заблуждениях своих не столько вредна, сколько полезна.

Но любовь к иностранному не должно смешивать с пристрастием к иностранцам: если первая полезна как дорога к просвещению, то последнее, без всякого сомнения, и вредно и смешно, и достойно нешуточного противодействия. Ибо не говоря уже об том, что из десяти иноземцев, променявших свое отечество на Россию, редко найдется один просвещенный, – большая часть так называемых иностранцев не рознится с нами даже и местом своего рождения: они родились в России, воспитаны в полурусских обычаях, образованны также поверхностно и отличаются от коренных жителей только своим *незнанием русского языка* и иностранным окончанием фамилий. Это незнание языка естественно делает их чужими посреди русских и образует между ними и коренными жителями совершенно особенные отношения. Отношения сии, всем им более или менее общие, созидают между ними общие интересы и потому заставляют их сходиться между собою, помогать друг другу и, не условливаясь, действовать заодно. Так самое *незнание языка* служит для них *паролем*, по которому они узнают друг друга, а недостаток просвещения нашего заставляя нас смешивать иностранное с иностранцами, как ребенок смешивает учителя с наукою и в уме своем не умеет отделить понятия об учености от круглых очков и неловких движений.

§ 7. Русские альманахи на 1832 год¹¹³

До сих пор вышло более десяти альманахов на 1832 год. Между ними «Альциона», изданная бароном Розеном, замечательна превосходными стихами Жуковского, стихами Пушкина, кн. Вяземского и прозой Марлинского и Сомова. Но без сравнения отличаются от всех других альманахов «Северные цветы», блестящие именами Дмитриева (И. И.), Жуковского, Пушкина, кн. Вяземского, Баратынского, Языкова и даже Батюшкова и покойного Дельвига. Вот уже год прошел с тех пор, как Дельвига не стало, с тех пор как преждевременная смерть ненавистною рукою вырвала его из круга друзей и тихой поэтической деятельности.

Он был Поэт: беспечными глазами¹¹⁴
Смотрел на мир – и миру был чужой,
Он сладостно беседовал с друзьями,
Он красоту боготворил душой;
Он воспевал счастливыми стихами
Харит, вино, и дружбу, и покой¹¹⁵.
.....

Любовь он пел, его напевы¹¹⁶
Блистали стройностью живой,
Как резвый стан и перси девы,
Олимпа чашницы молодой.
Он пел вино: простой и ясный
Стихи восторг одушевляя;
Они звенели сладкогласно,
Как в шуме вольницы прекрасной
Фиал, целующий фиал.
И девы русские пристрастно
Их повторяют...
.....

Таков он был, хранимый Фебом,
Душой и лирой древний грек.
.....

Его уж нет. Главой беспечной
От шума жизни скоротечной,
Из мира, где все прах и дым,
В мир лучший, в лоно жизни вечной
Он перелег. Но лиры звон
Нам навсегда оставил он.

¹¹³ Написано в 1832 г. Первая публикация: *Европеец*. 1832. Ч. 1. № 2. С. 285–289. – *Сост.*

¹¹⁴ Стихи сии взяты из песни Н. М. Языкова, напечатанной в «Северных цветах». 1832. – *И. К.*

¹¹⁵ Неточная цитата; вторая строка у Н. Языкова: «Глядел на мир и миру был чужой». – *Сост.*

¹¹⁶ Из «Послания» Языкова к Дельвигу, напечатанного там же. – *И. К.* Стихотворение Языкова, цитируемое И. В. Киреевским, в «Северных цветах на 1832 год» называлось «А. А. Дельвигу»; в некоторых современных изданиях – «На смерть барона А. А. Дельвига». Одна строка приведена неточно; у Языкова: «Уж нет его. Главой беспечный...». – *Сост.*

Дельвиг писал немного и печатал еще менее, но каждое произведение его дышит зрелостью поэтической мечты и доконченностью классической отделки. Его подражания древним более, чем все русские переводы и подражания, проникнуты духом древней простоты, греческою чувствительностью к пластической красоте и древнею, детскою любовью к чистым идеалам чувственного совершенства. Но та поэзия, которою исполнены русские песни Дельвига, ближе к русскому сердцу; в этих песнях отзывается гармоническим отголоском задумчивая грусть и поэтическая простота наших русских мелодий. Выписываем в доказательство одну из песен Дельвига, напечатанных в последних «Северных цветах», которая принадлежит к числу лучших его песен:

Как за реченькой слободушка стоит;
По слободке той дороженька бежит;
Путь-дорожка широка, да не длинна;
Разбегается в две стороны она:
Как налево – на кладбище к мертвецам;
А направо – к закавказским молодцам.
Грустно было провожать мне, молодой,
Двух родимых и по той и по другой!
Обручальника ко левой проводя,
С плачем матерью-землей покрыла я;
А налетный друг уехал по другой,
На прощанье мне кивнувши головой¹¹⁷.

Оценить беспристрастно и подробно стихотворения Дельвига – была бы немаловажная услуга русской литературе, и это одна из лучших задач, предстоящих нашим критикам.

Повесть Батюшкова¹¹⁸, напечатанная в «Северных цветах», отличается его обыкновенною звучностью и чистотою языка. Стихи Дмитриева¹¹⁹ также напомнили нам живо его прежнюю поэзию; прочтя их, кто не повторит вместе с Жуковским:

Нет, не прошла, певец наш вечно юный,
Твоя пора: твой гений бодр и свеж;
Ты пробудил давно молчавши струны —
И звуки нас пленили те ж.

Этот *ответ* Жуковского¹²⁰ исполнен самых свежих красот, самого поэтического чувства и самого трогательного воспоминания.

К названному нами присовокупим еще «Сражение с Змеем», перевод Жуковского из Шиллера; «А. А. Дельвигу» Языкова; «Моцарт и Сальери» Пушкина; «До свидания» кн. Вяземского – и вот лучшие украшения «Северных цветов» нынешнего года, богатых еще многими прекрасными стихами и прозою. Вообще появление их можно поставить в число самых замечательных событий текущей литературы.

¹¹⁷ И. В. Киреевский полностью приводит вторую из двух «Русских песен» А. Дельвига, напечатанных в альманахе. – *Сост.*

¹¹⁸ Повесть К. Батюшкова «Предслава и Добрыня» (1810). – *Сост.*

¹¹⁹ Стихотворение И. И. Дмитриева «Василию Андреевичу Жуковскому по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы». – *Сост.*

¹²⁰ Вместе с упомянутым стихотворением Дмитриева был напечатан «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву» В. А. Жуковского. – *Сост.*

§ 8. О русских писательницах. Письмо к Анне Петровне Зонтаг¹²¹

Москва, 10-го декабря, 1833

На последней почте я не успел высказать вам, милостивая государыня, всех мыслей и чувств, которые возбудило во мне письмо ваше, позвольте договорить теперь. Для меня это дело самолюбия: я боюсь в глазах ваших попасть к числу тех, которые, видя прекрасное, понимают его вполнину или ценят на ветер, – боюсь тем больше, что для меня, после достоинства *хорошо действовать*, нет выше, как *уметь понимать хорошее*.

В действиях одесских дам я вижу не только доброе дело, но, – что, по моему мнению, еще лучше, – дело истинно просвещенное. Оно замечательно не только в нравственном отношении, но и в общественном, как новое утешительное доказательство, что вообще образованность наша подвинулась вперед. Здесь не одно внушение сердца, не один случайный поступок, но добрая общественная мысль, разделенная многими; не просто сострадание к несчастью, беспокоящему нас своим присутствием, но просвещенно-сердечное участие в деле общем – не подложный признак того святого просвещения, которое одно истинное и которое до сих пор было у нас еще довольно редко.

Что женщины вообще имеют сердце нежное – это вещь давно известная и так обыкновенная, что даже редко вменяется в достоинство, как все неизбежное, за что благодарят судьбу, а не человека. Что в России особенно есть женщины, созданные с душою возвышенною, способные к делам прекрасным, высоким, даже героическим, – это также вещь доказанная, и мы в этом отношении уже имеем право гордиться перед многими народами, находя у себя примеры не одного, не двух поступков таких, от которых на душе становится вместе и тепло и свято. Но сочувствие с общественною жизнью у нас еще ново, и оттого женщины наши, несмотря на все свои частные добродетели, делают вообще меньше добра, чем в государствах больше просвещенных, и только потому, что там общее чувство заставляет их действовать *вместе*, между тем как у нас каждая может действовать только за себя. Чтобы убедиться в этом, стоит только обратить внимание на все добро, произведенное женскими благотворительными обществами в Пруссии, в Баварии, на Рейне, во Франции и особенно в Англии и в Соединенных Штатах.

Не меньше хорошим знаком кажется мне и то, что одесские дамы выбрали, как одно из средств издать альманах. Тому лет десять вряд ли пришло бы кому-нибудь на мысль это средство. Впрочем, что я не слишком далеко увлекся движением первой мысли, что ваши одесские действия в самом деле не случайность, не исключение, но признак большей зрелости нашей общественной образованности – это, в случае нужды, я мог бы доказать тысячью различных примеров, которые все подтверждают одно: что просвещение у нас подвигается быстро и что успехи его еще заметнее в женщинах, чем в мужчинах.

Возьмите в пример наши гостиные, нашу литературу, наше *первое* воспитание, которое всегда и везде есть дело женщин, – какая разница с тем, что было прежде! Далеко ли то время, когда мнение общественное отделяло женщин образованных в особый класс, отличая их названием *ученых*? Теперь женщина только образованная еще не выходит оттого из круга обыкновенных. Давно ли любезность женщин заключалась в искусстве играть словами, вертеть понятиями, низать узорные фразы, и те часто заученные? Давно ли разговор их вертелся между тесными личностями и бесконечным калейдоскопом общих мест о добродетели и пороке, о любви и дружбе, о чувствительности и холодности, о превосходстве мужчин или женщин или о том, слепой ли счастливее глухого или глухой слепого? Теперь такие любезности уже редки. Вообще репутация любезности теперь уже не основывается на фразах, образованные женщины

¹²¹ Первая публикация: «Подарок бедным, альманах на 1834 год, изданный Новороссийским женским обществом призрения бедных». Одесса, 1834. С. 120–151. – *Сост.*

уже не вертят понятиями куда попало, уже под маскою слов не ищут одних только личных отношений – и на то есть причина: они начали *мыслить*, и большая часть из них имеет образ мыслей уже не гостиный, не накладной, но свой, настоящий. Часто в головке, еще не получившей права на букли, уже хранятся мысли самобытные, современные, не памятью добытые, но серьезным размышлением или чтением книг таких, которые прежде были бы недоступны для самых ученых. Бывало, при звуке смычка дамы наши всею душою уходили в свои ножки, все в них оживлялось, все приходило в движение; они действовали на паркете всем сердцем, всеми силами, всем телом, всею душою – и все это вертелось пред вами, все это прыгало без памяти. А теперь! В самых блестящих собраниях есть что-то неполное, на лицах самых веселых заметите вы частые минуты задумчивости. Откуда такая перемена? Многие видят в этом только новую причину скуки, я в этой скуке вижу потребность чего-то лучшего – потребность жизни живее, умнее, дельнее, теплее, одним словом – *просвещеннее*.

И то внутреннее, невыразимое страдание, которое происходит от этой потребности живо ощущаемой, та болезнь души мыслящей, *болезнь образованности*, которая родилась в наше время и до сих пор еще не нашла себе имени, которая вместе служит и причиною и признаком просвещения, – как часто встречаете вы ее даже в таких женщинах, которых, кажется, и природа и судьба нарочно для того только и создали на свет, чтобы узнать земное счастье во всем его блеске. Это тяжело видеть, но вместе и отрадно; это страдание, болезнь, – но болезнь к росту, чистилище ума, переход в мир, вероятно, лучший.

Впрочем, не одно безотчетное чувство досталось в удел нашим дамам от современного просвещения. Часто под грациозным покрывалом веселой шутки, под легким, блестящим словом скрывается не пролетная мысль, не слепое чувство, но целое, настоящее *мнение*¹²² – мнение, вещь почти неслыханная в прежние времена! Правда, и теперь это вещь довольно редкая, но все она встречается и, может быть, чаще, чем думают многие. По крайней мере, образованные женщины *хотят* иметь мнение, чувствуют, что, неукрашенные сердечным убеждением в некоторых истинах, они теряют половину своей прелести. Частный опыт не доказательство, но сколько я мог заметить, то в этом отношении чуть ли прекрасный пол не опередил другой, который приписывает себе право на разум по преимуществу.

Какая разница тому лет десять!

То же, что об обществе, можно сказать и об нашей литературе. Распространение просвещения заметно в ней вообще, но в отношении к женщинам оно заметно несравненно более. Вот уже около десяти лет, как литература наша растет только в ширину, – и то слава Богу! – между тем писательницы наши становятся выше.

И давно ли с этим словом – писательница – соединялись самые неприятные понятия: пальцы в чернилах, педантство в уме и типография в сердце. Но теперь, с тех пор как некоторые из лучших украшений нашего общества вступили в ряды литераторов; с тех пор как несколько истинно поэтических минут из жизни некоторых женщин с талантом отразились так грандиозно, так пленительно в их зеркальных стихах – с тех пор название литератора стало уже не странностью, но украшением женщины: оно, во мнении общественном, подымает ее в другую сферу, отличную от обыкновенной, так что воображение наше создает вокруг нее другое небо, другой воздух, и ярче, и теплее, чем ваш одесский.

Впрочем, я говорю здесь только о новом поколении и частью о среднем; в старом поколении, которое привыкло видеть в женщине полуигрушку, – предрассудок против писательниц еще во всей силе. Он задавил, может быть, не один талант, обещавши новую красоту нашей литературе и, может быть, новую славу, – кто знает?

¹²² В данном случае слово «мнение» употребляется И. В. Киреевским в значении «убеждение», «воззрение» (ср.: «Обозрение современного состояния литературы»). Однако в других статьях он разграничивает и даже противопоставляет понятия «мнение» и «убеждение» (см.: «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России». Наст. изд. Т. 1). – *Сост.*

Вследствие этого предрассудка большая часть наших дам-поэтов пишет мало и либо совсем не печатает, либо печатает без имени. Исключений немного.

Так, без сомнения, вы слышали об одном из самых блестящих украшений нашего общества¹²³, о поэте, которой имя, несмотря на ее решительный талант, еще неизвестно в нашей литературе. Немногим счастливым доступны ее *счастливые* стихи, для других они остаются тайною. Талант ее скрыт для света, который осужден видеть в ней одно всedневное, одно невыходящее из круга жизни обыкновенной, и разве только по необыкновенному блеску ее глаз, по увлекательной поэзии ее разговора или по грации ее движений может он узнавать в ней поэта, отгадывать в ней тот талисман, который так изящно волнует мечты.

Но если предрассудок против писательниц еще не совсем уничтожился, то другой предрассудок против русского языка, кажется, уже решительно начинает проходить. Не говорить по-французски еще нельзя: так еще образованно наше общество, так еще необразован наш язык. Но, по крайней мере, кто теперь начинает писать, тот, конечно, начинает писать по-русски, и, вероятно, уже невозможен более тот пример русского таланта, отнятого у России французскою литературою, который возбуждает в нас тем больше сожаления, чем больше мы могли бы ожидать от него для нашей словесности. Не нужно договаривать, что я разумею здесь ту писательницу, которая передает французской литературе поэтическую сторону жизни наших древних славян¹²⁴. И в самом деле, скажите: кому дала судьба больше средств действовать на успехи изящных искусств в России? Рожденная с душою поэтической, открытою для всего прекрасного, одаренная талантами самыми редкими, воспитанная посреди роскоши самого утонченного просвещения, с самого детства окруженная всем блеском искусств, всею славою художественных созданий, – она казалась сама одним из самых счастливых изящных произведений судьбы. О чем другие мечтают издали, что другие разгадывают по слуху, то являлось перед нею живо и близко. Все редкости европейской образованности, все чудеса просвещенных земель: и великие художества, и великие художники, и знаменитые писатели, и лица, принадлежащие истории, и лица, принадлежащие минуте, – все это быстро и ярко пронеслось перед ее глазами, все это должно было оставить следы драгоценные на молодом ее воображении, – всем этим она могла делиться с своими соотечественниками, ставши прекрасною посредницею между ими и тем, что просвещенный мир имеет самого замечательного... Но это не сбылось...

Италия, кажется, сделалась ее вторым отечеством¹²⁵, и, впрочем, – кто знает? Может быть, *необходимость Италии* есть общая неизбежная судьба всех имевших участь, ей подобную? Кто из первых впечатлений узнал лучший мир на земле, мир прекрасного; чья душа от первого пробуждения в жизнь была, так сказать, взлелеяна на цветах искусств и образованности, в теплой итальянской атмосфере изящного; может быть, для того уже нет жизни без Италии, и синее итальянское небо, и воздух итальянский, исполненный солнца и музыки, и итальянский язык, проникнутый всею прелестью неги и грации, и земля итальянская, усеянная великими воспоминаниями, покрытая зачарованная созданиями гениального творчества, – может быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственным неудушающим воздухом для души, избалованной роскошью искусств и просвещения...¹²⁶

¹²³ И. В. Киреевский имеет в виду писательницу Е. П. Ростопчину. Последующее упоминание о *талисмани* указывает на стихотворение Ростопчиной «Талисман», опубликованное в «Северных цветах на 1831 год». – *Сост.*

¹²⁴ Речь идет о вышедшей в Париже в 1814 г. книге «Славянская картина V века» (на французском языке) и о ее авторе княгине З. А. Волконской. Образованная и талантливая женщина, Волконская была известна как певица, композитор и писатель, ее московский салон посещали А. Пушкин, Е. Баратынский, В. Одоевский, А. Мицкевич, Д. Веневитинов, И. и П. Киреевские. – *Сост.*

¹²⁵ С 1829 г. Волконская навсегда поселилась в Италии. – *Сост.*

¹²⁶ Все сказанное здесь об Италии составляло на рубеже 1820–1830-х гг. заветное убеждение самого И. В. Киреевского. См.: Наст. изд. Т. 3. – *Сост.*

Недавно Российская академия – и это делает честь Российской академии, – издала стихотворения одной русской писательницы¹²⁷, которой труды займут одно из первых мест между произведениями наших дам-поэтов и которая до сих пор оставалась в совершенной неизвестности. Судьба, кажется, отделила ее от людей какою-то страшною бездною, так что, живя посреди их, посреди столицы, ни она их не знала, ни они ее. Они оставили ее не знаю для чего – она оставила их для своей Греции, для Греции, которая, кажется, одна наполняла все ее мечты и чувства: по крайней мере о ней одной говорит каждый стих из нескольких десятков тысяч, написанных ею. Странно: семнадцати лет, в России, девушка бедная, бедная со всею своею ученостью! Знать восемь языков; с талантом поэзии соединять талант живописи, музыки, танцеванья; учиться самым разнородным наукам, учиться беспрестанно; работать все детство, работать всю первую молодость, работать начиная день, работать отдыхая; написать три больших тома стихов по-русски, может быть, столько же на других языках; в *свободное время* переводить трагедии, русские трагедии¹²⁸, – и все для того, чтобы умереть в семнадцать лет, в бедности, в крайности, в неизвестности!

Жалко видеть, как она, бывши еще четырнадцать лет, перевела лучшие песни Анакреона на *пять языков*, приложила к ним подробный грамматический разбор греческого подлинника и поднесла покойной императрице Елисавете Алексеевне, прося ее внимания

К плодам трудов упорных,
В дни детства предприятых¹²⁹.

Покойная императрица прислала ей фермуар с бриллиантами. Неизвестно, надолго ли стало ей это пособие: семейство ее осталось в крайности, она умерла в чахотке. Через два года уже после ее смерти ее высочество великая княгиня Елена Павловна пожаловала одному из ее учителей за ее же переводы кольцо с бриллиантами. Публика, с своей стороны, быть может, не прочтет ее сочинений: и в самом деле в них еще больше труда, чем таланта, и слишком много учености: помните Черного Доктора в «Стелло»¹³⁰?

В этом же году вышло еще собрание стихотворений другой писательницы¹³¹, также молодой, но уже давно известной по многим сочинениям, разбросанным в журналах и альманахах. В легких, светлых, грациозно волнующихся стихах отразились здесь самые яркие, *звездные* минуты из весенней, чистой, сердечно-глубокой жизни поэтической девушки. «*Мечта о любви*», «*Сон*», «*Стихи к чародею*», «*Разочарование*», «*Воспоминанье детства*», «*Деревня*», «*Звездочка*», «*Минуты безнадежности*», «*Смерть девушки-друга*», «*Стихи к любимому поэту*», «*К ней*», «*К нему*», «*Тоска по лучшем мире*»¹³² – одним словом, все струны молодого поэтического сердца отозвались здесь в одной идеальной гармонии. Кажется, здесь все правда, все от сердца, ни одно чувство не выдуманно – и в этом отношении особенно замечательна эта музыкальная исповедь девушки-поэта. Язык ее чистый, гармонический, иногда

¹²⁷ В альманахе «Подарок бедным...» к этому месту статьи издателем сделано примечание: «Девуцы Елисаветы Кульман». Издание, о котором идет речь: Пиитические опыты Елисаветы Кульман. СПб., 1833. Ч. 1–3. – *Сост.*

¹²⁸ Е. Кульман перевела четыре трагедии Озерова на иностранные языки *в праздные*, как она называла, *часы*. – *Сост.*

¹²⁹ И. В. Киреевский неточно цитирует посвящение, адресованное императрице. – *Сост.*

¹³⁰ Подразумевается книга А. Виньи «Стелло, или Голубые бесы. Повести, рассказанные больному Черным доктором» (1832). – *Сост.*

¹³¹ Речь идет о Н. С. Тепловой, печатавшейся в «Телескопе», «Московском телеграфе», «Северный цветах». В 1833 г. в Москве вышла книга «Стихотворения Надежды Тепловой». – *Сост.*

¹³² Названия некоторых стихотворений приведены неточно. Должно быть: «Любовь» (у И. В. Киреевского – «Мечта о любви»), «Безнадежность» («Минуты безнадежности»), «На смерть девы» («Смерть девушки-друга»), «К любимому поэту» («Стихи к любимому поэту»). Стихотворений с названиями «Воспоминанье детства», «Деревня», «К нему», «Тоска по лучшем мире» в упомянутой книге Тепловой нет. Можно предположить, что Киреевский имел в виду стихотворения «К родной стороне», «Весна», «К...», «Скука». – *Сост.*

мужественно силен, часто необыкновенно грациозен. Несмотря, однако, на красоту каждой пьесы, в общем их впечатлении есть что-то грустное. Все слишком идеальное, даже при светлой наружности, рождает в душе печаль каким-то магнетическим сочувствием – такова одинокая, чистая песнь, прослышанная сквозь нестройный, ее заглушающий шум; такова жизнь девушки с душою пламенною, мечтательною, для которой из мира событий существуют еще одни внутренние.

Другая писательница, известная в литературе нашей под тем же именем¹³³, уже несколько лет, кажется, забыла свою лиру. Это тем больше жаль, что и ей также природа дала дарование неподложное. На минуту только блеснула она на горизонте нашей поэзии – и уже один из первоклассных поэтов наших говорил ей:

Вы знаете, как в хоры сладкогласны
Созвучные сливаются слова,
И чем они могучи и прекрасны,
И чем поэзия жива;

Умеете вы мыслию своею
Чужую мысль далеко увлекать,
И, праведно господствуя над нею,
Ее смирать и возвышать...¹³⁴

Так как я уже начал говорить о наших сочинительницах, то мне хотелось бы еще поговорить с вами о той писательнице, которая особенно замечательна в литературе своею остроумною перепискою с остроумнейшим из наших поэтов и которая, может быть, не меньше замечательна вне литературы непринужденною любезностью своего разговора¹³⁵; о другой писательнице, которой таинственное посланье к Пушкину должно было так мучительно и вместе так приятно волновать самолюбивое любопытство поэта¹³⁶; о блестящей переводчице одного из наших известных, религиозно-печальных поэтов, которая знаменита красотою именно того, чего недостатком знаменит поэт, ею переводимый¹³⁷; о любопытной, необыкновенной переписке, которая началась было в одном из наших литературных листков между одним литератором и неизвестною, безыменною писательницею, обещающею талант, если можно судить о таланте по нескольким стихам; о сочинительнице «Сновиденья», которой стихи замечательны какою-то молодою безыскусственностью, благородством чувств и еще тем, что внушили другой писательнице несколько мило грациозных стихов, – обо всем этом хотел бы я поговорить с вами подробно, если бы не боялся продолжить письма до бесконечности.

Талант почти красота. Где бы он ни являлся нам, в мужчине или в женщине, в образованном или в невежде, и какой бы он ни был, даже самый бесполезный, – талант всегда заключает в себе что-то магнетическое. Мне всегда хочется поклониться везде, где я встречаю талант. Но женщина с талантом имеет в себе что-то особенно привлекательное. Живописец ли она, или

¹³³ Речь идет о сестре Н. Тепловой С. С. Тепловой. В «Северных цветах на 1832 год» было напечатано ее стихотворение «Сестре в альбом». – *Сост.*

¹³⁴ Цитата из стихотворения Н. Языкова «С. С. Тепловой» (1831). – *Сост.*

¹³⁵ Имеется в виду Е. А. Тимашева. В альманахе «Северные цветы на 1831 год» было напечатано адресованное ей стихотворение П. А. Вяземского «Святочная шутка», следом за которым помещен был «Ответ» («Нет! черта не видела я...»). – *Сост.*

¹³⁶ Имеется в виду А. И. Готовцова, печатавшаяся в журналах и альманахах между 1826-м и 1839-м гг. В «Северных цветах на 1829 год» было напечатано ее послание «А. С. П.» («А. С. Пушкину»), на которое поэт отвечал в том же альманахе: «Ответ А. И. Готовцовой» («И недоверчиво и жадно...»). – *Сост.*

¹³⁷ А. Д. Абамелек перевела на французский язык поэму И. Козлова «Чернец». Козлов в 1821 г. потерял зрение. – *Сост.*

музыкант, или поэт – все равно, если только природа дала ей дарование неподложное, если занятие искусством раскрыло ей душу к изящному, настроило ее воображение поэтически и воспитало в ее сердце другую, лучшую жизнь, то вокруг всего существа ее разливается какая-то невыразимая прелесть. Поэт-мужчина принадлежит миру изящного одним воображением, поэт-женщина принадлежит ему всем существом своим. Оттого часто, смотря на нее, кажется, будто голова ее окружена чем-то блестящим, похожим на сияние; посмотришь ближе: это сияние – мечта, воздушная диадема из слов и звуков, возбужденных ею и на нее же отражающихся.

Вот почему я с таким наслаждением говорю о наших писательницах, и вот почему я не могу объяснить себе, отчего до сих пор они так мало оценены в нашей литературе. Больно видеть, как мудрено обходятся с ними наши записные критики, которые либо совсем молчат о них, либо говорят так, что лучше бы молчали. Какой-то даме удалось однажды написать «*Два червячка*»¹³⁸, и вот нашлись люди, которые удивляются, как дама, такое нежное, слабое создание, могла написать «*Два червячка*»! Другая дама начала переводить какие-то известные стихи так, как переводят мышей, – и вот журналы наши наполнились ей похвалами, восторгами, рукоплесканиями, тогда как истинный поэтический талант, какова, например, г-жа Лисицына, остается почти неузнанным. Один, кажется, «Телеграф» говорит о ней, и то уже давно, между тем как в стихах ее столько души, столько поэзии, столько драгоценной сердечной правды, сколько вряд ли найдется у большей части наших журнальных поэтов вместе взятых. Какие высокие минуты восторга должна была испытать она, какие мучительные, светлые, невыносимые минуты вдохновения она должна была вынести, чтобы вырвать из сердца своего такие глубокие, такие пронзительные звуки! Признаюсь вам: большая часть столько хваленой французских дам-стихотворцев не производит на меня и половины того действия, какое стихи г-жи Лисицыной, которые, конечно, имеют право на почетное место не в одной дамской литературе.

На днях пришли сюда только что отпечатанные в Германии переводы с русского под названием «*Северное сияние*», «*Das Nordlicht*», переводы, сделанные одною знакомою вам девушкою, одаренною самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами¹³⁹. Сколько я могу судить, то переводы эти превосходят все известные до сих пор с русского на какие бы то ни было языки, не исключая ни Боуринга¹⁴⁰, столько превознесенного, ни фон дер Борга, оцененного так мало¹⁴¹. Впрочем, я не знаю, что мог бы я сказать о таланте молодой переводчицы лучше и больше того, что сказал ей Языков, которого некоторые стихи, переведенные ею, находятся также в этом собрании:

Вы силою волшебной дум своих
Прекрасную торжественность мне дали,
Вы на златых струнах переиграли
Простые звуки струн моих.

И снова мне, и ярче воссияла
Минувших дней счастливая звезда,
И жаждою священного труда

¹³⁸ Подразумевается басня М. Б. Даргомыжской «Два червяка» (Северные цветы на 1825 год). – *Сост.*

¹³⁹ Речь идет о К. К. Яниш, выпустившей книгу переводов и оригинальных стихотворений «*Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur von Karoline von Jaenisch*» (Erste Lieferung. Dresden und Leipzig. 1833) – «Северное сияние. Образцы новейшей русской литературы Каролины Яниш» (Первая доставка. Дрезден и Лейпциг. 1833 г.). – *Сост.*

¹⁴⁰ Д. Бауринг был составителем сборников поэзии многих европейских стран, в том числе и России. Он выпустил сборник английский переводов русских поэтов «*Specimens of the Russian poets*» (Transl. by John Bowring. London, 1821–1823). – *Сост.*

¹⁴¹ К. Ф. Борг выпустил книгу своих переводов «*Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg*» (Riga und Dorpat, Hartmann, 1823. Bd. 1–2). И. В. Киреевский неточен в том, что переводы Борга были оценены недостаточно. См.: В. Мендель (Literaturblatt. 1825. № 60); В. Кюхельбекер (Сын Отечества. 1825. № 17). – *Сост.*

Живее грудь затрепетала.

Я чувствую: завиден жребий мой!
Есть и во мне благословенье Бога,
И праведна житейская дорога,
Беспечно выбранная мной.

Не кланяюсь пустому блеску мира,
Не слушаю слепой его молвы:
Я выше их... Да здравствуете ж вы
И ваша творческая лира!¹⁴²

Так говорил Языков, а я, признаюсь вам, смотрю на эти переводы с предубеждением: мне досадно видеть, что русская девушка так хорошо владеет стихом немецким; еще досаднее знать, что она так же хорошо и, может быть, еще лучше, владеет стихом французским, и только на своем отечественном языке не хочет испытать своих сил! В конце книги приложено несколько оригинальных пьес, исполненных поэзии и замечательных особенно тем, что всего реже встречается в наших девушках: оригинальностью и силою фантазии. Читая их, понимаешь, почему поэт говорил сочинительнице:

И два венка, один другого краше,
На голове свилися молодой:
Зеленый лавр поэзии чужой
И бриллианты музы вашей!..¹⁴³

Менцель уже объявил в литературных листах о выходе «Северного сияния», и я жду его разбора с нетерпением: любопытно видеть, что самый остроумный из немецких критиков скажет о нашей литературе, которая теперь в первый раз явилась ему в настоящем виде.

Перечитывая письмо мое, я нахожу, что оно слишком длинно и, несмотря на то, слишком неполно. Но в этом виноват не я. Говоря о писательницах наших, первая мысль моя была о той, которой труды – добро, которая в сочинениях своих ищет не блеска, но пользы, действуя для цели прекрасной, возвышенной так, как другие не умеют действовать для корыстных наслаждений самолюбия. Но эта писательница... говоря с вами, я не смел упоминать об ней.

§ 9. О стихотворениях г. Языкова¹⁴⁴

Тому два года французский «Журнал прений» торжественно объявил Европе, что в России скончался один из первоклассных ее поэтов, г. Державин¹⁴⁵. В конце прошедшего года

¹⁴² И. В. Киреевский приводит без первых двух строк стихотворение Н. Языкова «К-е К-е Я-ш» («К. К. Яниш». 1831), опубликованное в «Северных цветах на 1832 год». – *Сост.*

¹⁴³ Вторая строфа из упомянутого выше стихотворения Н. Языкова. – *Сост.*

¹⁴⁴ Написано в 1834 г. Первая публикация: *Телескоп*. 1834. Ч. 19. № 3. С.163–177. № 4. С. 232–242. Издатель получил статью с сопроводительным письмом И. В. Киреевского: «Милостивый государь. Если Вы найдете статью мою достойною помещения в Вашем журнале, то прошу Вас напечатать ее без примечаний; это будет Вам тем легче, что говоря о литературе прошедшего года, Вы, вероятно, скоро должны будете изложить свое мнение о Языкове и, следовательно, читатели Ваши не припишут Вам тех мыслей из моей статьи, с которыми, может быть, Вы не согласны. Имею честь и пр. Y—Z». – *Сост.*

¹⁴⁵ И. В. Киреевский иронизирует над неосведомленностью «Journal des Débats», где в 1832 г. сообщили о смерти Г. Р. Державина, скончавшегося в 1816. – *Сост.*

издано во Франции «Собрание русских повестей», выбранных из Булгарина, Карамзина и других (Le Conteur Russe, par Bulgarine, Karamsin et autres...) ¹⁴⁶.

Скажите, что страннее: говорить о русской литературе, не зная Державина, или ставить вместе имена Булгарина, Карамзина и других? Который из двух примеров доказывает большее незнание нашей словесности?

Чтобы решить этот вопрос, надобно иметь особенно тонкую проницательность, которою я не смею гордиться и потому предоставляю это дело моим читателям. Но во всяком случае кажется мне несомненным одно, что русская литература известна во Франции почти столько ж, сколько персидская или татарская.

И мысль, что ни одна тень нашей мысли, ни один звук нашего голоса не дойдут до народов образованных, – это тяжелая мысль, и, кроме грусти, она должна иметь еще другое вредное влияние на наших писателей. Литератор наш невольно стесняет круг своей умственной деятельности, думая о своих читателях, между тем как писатель французский при мысли о печатании расширяет свои понятия, ибо при каждом счастливом движении ума, при каждом чувстве поэтически-самобытном, при каждом слове, удачно сказанном, является ему надежда, вдохновительная надежда на сочувствие со всем, что в мире есть просвещенного и славного.

Вот почему каждое покушение познакомить образованных иностранцев с нашею словесностью должно встречать в нас отзыв благодарности и возможно верную оценку.

Но между всеми переводчиками с русского языка три особенно замечательны удачею своих переводов. Бауринг, который один из трех был оценен и, может быть, даже переценен иностранными и русскими критиками; Карл фон дер Борг, которого переводы имеют без сравнения большее достоинство ¹⁴⁷, но который, несмотря на то, известен весьма не многим и еще ни в одном журнале не нашел себе справедливого суда; и, наконец, Каролина фон Яниш, которой замечательная книга явилась на последней Лейпцигской ярмарке и обнаруживает, кажется, талант еще превосходнейший ¹⁴⁸.

Но, как ни утешительно это начало дружеского сближения нашей словесности с литературою немецкою, признаюсь, однако, что мне было больше досадно, чем приятно видеть, как одного из первоклассных поэтов наших лучше всех русских понял и оценил – писатель немецкий!

Г-н фон дер Борг в одном из последних номеров «Дерптских летописей» ¹⁴⁹¹⁵⁰ в нескольких строчках сказал больше справедливого о сочинениях Языкова, нежели сколько было сказано о них во всех наших периодических и непериодических изданиях. Впрочем, и то правда, что до сих пор у нас еще не говорили об Языкове, а только вскрикивали. Один «Телеграф» ¹⁵¹ высказал свое мнение, и тот, судя о Языкове, не был, кажется, свободен от таких предубеждений, с которыми истина не всегда уживается.

При начале статьи своей г-н фон дер Борг жалуется на тяжелое чувство, которое возбуждают в нем новейшие поэтические произведения Европы, и при этом случае говорит о том утешении, которое доставляет ему созерцание литературы свежей, юношеской, которая еще не достигла времени своего полного процветания, но уже дает его предчувствовать.

¹⁴⁶ В книгу «Les conteurs russes ou nouvelles, contes et traditions russes, par mm. Boulgarine, Karamzine...» (Tome deuxième. Paris, MDCCCXXXIII) вошли также произведения М. Погодина, А. Погорельского, А. Пушкина и др. – *Сост.*

¹⁴⁷ См.: О русских писательницах. – *Сост.*

¹⁴⁸ Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur von Karoline von Jaenisch. – *И. К.*

¹⁴⁹ Дерптский ежегодник литературы, статистики и искусства России. – *Сост.*

¹⁵⁰ Dorpater Jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst, besonders Russland's, herausgegeben von Proffes. Dr. Blum, Dr. Bunge, Dr. Goedel, Dr. Neue, Dr. Struve, v. d. Borg, Dr. Fridlander, Dr. Kruse, Dr. Rathke, Dr. Walter. – *И. К.* Статья Борга называется «Russische schöne Lieteratur. Стихотворения Н. Языкова, d. i. Gedichte von N. Jasykow». St.-P., 1833. – *Сост.*

¹⁵¹ В «Московском телеграфе» с рецензией на «Стихотворения Н. Языкова» выступил Кс. Полевой (1833. № 6), отмечавший у Языкова *односторонность и какую-то холодность чувства, отсутствие глубоких, многообъемлющих идей* и вместе с тем – *незаинтересованность картин, язык и выражение истинно поэтические*. – *Сост.*

Кто не разделит с г. Боргом того ощущения, которое возбуждает в нем современная поэзия Европы? Но что касается до особенного утешения, которое доставляет ему литература русская, то в этом случае – почему нам не поверить г. Боргу на слово? Может быть, со стороны так и должно казаться.

«Это утешительное чувство, – продолжает г. Борг, – похоже на то, которое возбуждает в нас весна, когда надежда еще рисует нам будущее в лучшем свете, – между тем как самые прекрасные дни осени внушают невольную грусть... Когда же поэт, принадлежащей юношеской литературе, сам еще находится в поре юности и надежды, тогда из созданий его навевает нам двойною весною, так что ее действие на душу становится уже неотразимым.

Такое дыхание весны встретил я в сочинениях Языкова, которые для “Дерптских летописей” имеют еще тот особенный интерес, что молодой поэт несколько лет принадлежал Дерптскому университету и ему обязан своим высшим образованием. К тому же и стихотворения его написаны большею частью во время его жизни в Дерпте или наполнены воспоминаниями об этой жизни. Они принадлежать почти исключительно лирическому роду и большею частью сложены в тоне элегическом... Впрочем, и застольные и эротические песни не исключены из собрания и многие из них особенно счастливы. Отечество, любовь, дружба и братское житье веселых юношей-товарищей – вот любимые предметы поэта. Вообще стихи его пленяют какою-то свежестью и простодушием, и вряд ли есть одно стихотворение, которое бы можно было назвать неудавшимся. Но особенная прелесть заключена в его языке, отличающемся силою, новостью и часто дерзостью выражений, между тем как стих его исполнен самой редкой благозвучности. Если же мы прибавим к сказанному еще то, что в этих гармонических стихах выражается чувство всегда благородное, душа вся проникнутая любовью к прекрасному и великому, то, конечно, возбудим любопытство всех, принимающих участие в успехах русской словесности»¹⁵².

Таково мнение г. Борга. Оно показалось нам особенно замечательным в том отношении, что изо всех рецензентов Языкова до сих пор один он постигнул поэтическую и нравственную сторону тех из стихотворений поэта, которые у нас навлекли ему столько странных упреков.

Слыша беспрестанные упреки Языкову, я всегда вспоминаю одного русского барина, который ездил отдавать своего сына в какой-то немецкий университет, но, встретив на улице студента без галстука и с длинными волосами, тотчас же понял из этого всю безнравственность немецких университетов и возвратился домой воспитывать своего сына в Саратове.

Вообще многие из нас еще сохранили несчастную старообрядческую привычку судить о нравственности более по наружному благочинию, чем по внутреннему достоинству поступка и мысли. Мы часто считаем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя бы впрочем жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была лишена всякого стремления к добру и красоте. Если вам случалось встречать человека, согретого чувствами возвышенными, но одаренного при том сильными страстями, то вспомните и сочтите: сколько нашлось людей, которые поняли в нем красоту души, и сколько таких, которые заметили одни заблуждения! Странно, но правда, что для хорошей репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда ошибаться, между тем как, в самом деле, скажите: есть ли на свете что-нибудь безнравственнее равнодушия?

Конечно, я повторяю здесь мысли старые, всем известные, но почему не повторять иногда старой истины? Есть мысли, которые всякий знает, но только в теории; чтобы понимать их в ежедневном применении, для этого, кроме просвещения умственного, нужна еще просве-

¹⁵² В подтверждение своих слов г. фон дер Борг приводит несколько стихотворений Языкова вместе с своим переводом. Переписываем одно из них, чтобы те из наших читателей, которые не знают переводов г. Борга, могли судить о его таланте в самом трудном испытании, которое когда-либо предстояло переводчику, ибо изо всех новейших поэтов Языков, может быть, самый непереводаемый. – И. К. Далее в оригинале следует русский и немецкий текст стихотворения Н. Языкова «Чужбина». – *Сост.*

щенная жизнь, устроенная посреди просвещенного общества, где мысли из отвлеченного умо-заклучения обратились в неприметную привычку, до тех пор истина еще не пошлость.

Вот почему немецкий ученый, отличающийся самою щекотливою чопорностью, скорее поймет нравственность стихов Языкова, чем многие из самых снисходительных его русских читателей.

А между тем, если мы беспристрастно вникнем в его поэзию, то не только найдем ее не безнравственною, но вряд ли даже насчитаем у нас многих поэтов, которые могли бы похвалиться большею чистотою и возвышенностью. Правда, он воспеваает вино и безымянных красавиц, но упрекать ли его за то, что те предметы, которые действуют на других нестройно, внушают ему гимны поэтические? Правда, пьянство есть вещь унижительная и гадкая, но если найдется человек, на которого вино действует иначе, то вместо безнравственности не будет ли это, напротив, доказательством особенной чистоты и гармонии его души? Положим, что на вас производят действие чистое и поэтическое только весна, цветы и музыка, а все другое, что возбуждает ваши нервы, внушает вам мысли нечистые – в этом случае вы хорошо делаете, воздерживаясь от всего возбуждательного. Однако это не должно мешать вам быть справедливым к другим. И виноват ли Языков, что те предметы, которые на душе других оставляют следы грязи, на его душе оставляют перлы поэзии, перлы драгоценные, огнистые, круглые?

Изберите самые предосудительные, по вашему мнению, из напечатанных стихотворений Языкова (ибо о ненапечатанных, как о непризнанных, мы не имеем права судить) и скажите откровенно: производят ли они на вас влияние нечистое?

Когда Анакреон воспеваает вино и красавиц, я вижу в нем веселого сластолюбца; когда Державин славит сладострастие, я вижу в нем минуту нравственной слабости; но, признаюсь, в Языкове я не вижу ни слабости, ни собственно сластолюбия; ибо где у других минуты бессилия, так у него избыток сил; где у других просто влечение, там у Языкова восторг, а где истинный восторг, и музыка, и вдохновение – там пусть другие ищут низкого и грязного; для меня восторг и грязь кажутся таким же противоречием, каким огонь и холод, красота и безобразие, поэзия и вялый эгоизм.

Впрочем, судить таким образом о сочинениях Языкова могли бы мы только в таком случае, когда бы изо всех стихотворений его мы знали одни застольные и эротические. Но если при всем сказанном мы сообразим еще то, что, может быть, нет поэта глубже и сильнее проникнутого любовью к отечеству, к славе и поэзии, что, может быть, нет художника, который бы ощущал более святое благоговение перед красотой и вдохновением, то тогда все упреки в безнравственности покажутся нам странными до комического, и нам даже трудно будет отвечать на них, ибо мудрено будет понять их возможность.

Но довольно. Уже слишком много останавливались мы на предмете и без того слишком ясном. Есть предубеждения, которые не признают и очевидности; есть близорукость, которой не поможет никакой телескоп. Мы пишем для людей зрячих и беспристрастных.

Стихотворения Языкова внушают нам другой вопрос, более дельный и более любопытный, и в этом случае особенно желал бы я найти сочувствие моих читателей.

Благословенны те мгновенья,
Когда в виду грядущих лет
Пред фимиамом вдохновенья
Священнодействует поэт.

*Н. Языков*¹⁵³

¹⁵³ Первые строки стихотворения Н. Языкова «Катеньке Мойер» (1827). – *Сост.*

Дело критики при разборе стихотворцев заключается обыкновенно в том, чтобы определить степень и особенность их таланта, оценить их вкус и направление и показать, сколько можно, красоты и недостатки их произведений. Дело трудное, иногда любопытное, часто бесполезное и почти всегда неудовлетворительное, хотя и основано на законах положительных.

Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую область в мире прекрасного и прибавляющий таким образом новый элемент к поэтической жизни своего народа, – тогда обязанность критики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным, даже вопрос о таланте является неглавным, но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес самобытный, философический, и лицо его становится идеею, и его создания становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим *на них*, сколько *сквозь них*, как сквозь открытое окно стараемся рассмотреть самую внутренность нового храма и в нем божество, его освящающее.

Оттого, входя в мастерскую живописца обыкновенного, мы можем удивляться его искусству, но перед картиною художника творческого забываем искусство, стараясь понять мысль, в ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить в воображении то состояние души, при котором она исполнена. Впрочем, и это последнее сочувствие с художником свойственно одним художникам же, но вообще люди сочувствуют с ним только в том, что в нем чисто человеческого: с его любовью, с его тоской, с его восторгами, с его мечтою-утешительницею – одним словом, с тем, что происходит внутри его сердца, не заботясь о событиях его мастерской.

Таким образом на некоторой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу.

Но эта душа изящных созданий – душа нежная, музыкальная, которая трепещет в звуках и дышит в красках, – неуловима для разума. Понять ее может только другая душа, ею проникнутая. Вот почему критика произведений образцовых должна быть не столько судом, сколько простым свидетельством, ибо зависит от личности и потому может быть произвольною, и основана на сочувствии и потому должна быть пристрастною.

Что же делать критикам систематическим, которые хотят доказывать красоту и заставляют вас наслаждаться по правилам, указывая на то, что хорошо, и на то, что дурно? Им в утешение остаются произведения обыкновенные, для которых есть законы положительные, ясные, не подлежащие произвольному толкованию, – и надобно признаться, что это утешение огромное, ибо в литературе каждого народа встречаете вы немногих поэтов-двигателей, тогда как все другие только следуют данному ими направлению, подлежа критике одним искусством исполнения, но не душою создавая.

Несколько светильников, окруженных тысячею разбитых зеркальных кусков, где тысячу раз повторяется одно и то же, – вот образ литературы самых просвещенных народов. Сколько же приятных занятий для того, кто захочет исчислять все углы отражений света на этих зеркальных обломках.

Но если вообще то, что мы называем *душою искусства*, не может быть доказано посредством математических доводов, но должно быть прямо понято сердцем либо просто принято на веру, – то еще менее можно требовать доказательств строго-математических там, где дело идет о поэте молодом, которого произведения хотя и носят на себе признаки поэзии оригинальной, но далеко еще не представляют ее полного развития.

Вот почему, стараясь разрешить вопрос о том, что составляет характер поэзии Языкова, мне особенно необходимо сочувствие моих читателей, ибо оно одно может служить оправданием для мыслей, основанных единственно на внушениях сердца и частью даже на его догадках.

Мне кажется, – и я повторяю, что мое мнение происходит из одного индивидуального впечатления, – мне кажется, что средоточием поэзии Языкова служит то чувство, которое я не

умею определить иначе, как назвав его *стремлением к душевному простору*. Это стремление заметно почти во всех мечтах поэта, отражается почти на всех его чувствах, и может быть даже, что из него могут быть выведены все особенности и пристрастия его поэтических вдохновений.

Если мы вникнем в то впечатление, которое производит на нас его поэзия, то увидим, что она действует на душу как вино, им воспеваемое, как какое-то волшебное вино, от которого жизнь двоятся в глазах наших: одна жизнь является нам тесною, мелкою, вседневною; другая – праздничною, поэтической, просторною. Первая угнетает душу – вторая освобождает ее, возвышает и наполняет восторгом. И между сими двумя существованиями лежит явная бездонная пропасть, но через эту пропасть судьба бросила несколько живых мостов, по которым душа переходит из одной жизни в другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль об отечестве, мысль о поэзии и, наконец, те минуты безотчетного разгульного веселья, когда собственные звуки сердца заглушают ему голос окружающего мира – звуки, которыми сердце обязано собственной молодости более, чем случайному предмету, их возбудившему.

Но не одна жизнь, и сама поэзия с этой точки зрения является нам вдвойне: сначала как пророчество, как сердечная догадка, потом как история, как сердечное воспоминание о лучших минутах души. В первом случае она увлекает в мир неземной, во втором – она из действительной жизни извлекает те мгновения, когда два мира прикасались друг друга, и передает сии мгновения как верное, чистое зеркало. Но и та и другая имеют одно начало, один источник, – и вот почему нам не странно в сочинениях Языкова встретить веселую застольную песнь подле святой молитвы и отблеск разгульной жизни студента подле высокого псалма. Напротив, при самых разнородных предметах лира Языкова всегда остается верно своему главному тону, так что все стихи его, вместе взятые, кажутся искрами одного огня, блестящими отрывками одной поэмы, недосказанной, разорванной, но которой целостность и стройность понятны из частей. Так иногда в немногих поступках человека с характером открывается нам вся история его жизни.

Но именно потому, что господствующий идеал Языкова есть праздник сердца, простор души и жизни, потому господствующее чувство его поэзии есть какой-то электрический восторг, и господствующий тон его стихов – какая-то звучная торжественность.

Эта звучная торжественность, соединенная с мужественною силою, эта роскошь, этот блеск и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пышность и великолепие языка, украшенные, проникнутые изяществом вкуса и грации, – вот отличительная прелесть и вместе особенное клеймо стиха Языкова. Даже там, где всего менее выражается господствующий дух его поэзии, нельзя не узнать его стихов по особенной гармонии и яркости звуков, принадлежащих его лире исключительно.

Но эта особенность, так резко отличающая его стих от других русских стихов, становится еще заметнее, когда мы сличаем его с поэтами иностранными. И в этом случае особенно счастлив Языков тем, что главное отличие его слова есть вместе и главное отличие русского языка. Ибо если язык итальянский может спорить с нашим в гармонии вообще, то, конечно, уступит ему в мужественной звучности, в великолепии и торжественности, – и, следовательно, поэт, которого стих превосходит все русские стихи, именно тем, чем язык русский превосходит другие языки, – становится в этом отношении поэтом-образцом не для одной России.

Но сия наружная особенность стихов Языкова потому только и могла развиваться до такой степени совершенства, что она, как мы уже заметили, служит необходимым выражением внутренней особенности его поэзии. Это не просто тело, в которое вдохнули душу, но душа, которая приняла очевидность тела.

Любопытно наблюдать, читая Языкова, как господствующее направление его поэзии оставляет следы свои на каждом чувстве поэта и как все предметы, его окружающие, отзываются ему тем же отголоском. Я не представляю примеров потому, что для этого надобно бы было переписать все собрание его стихотворений; напомним только выражение того чувства, которое всего чаще воспевается поэтами и потому всего яснее может показать их особенность:

А вы, певца внимательные други,
Товарищи, – как думаете вы?
Для вас я пел немецкие досуги,
Спесивый хмель ученой головы
И праздник тот, шумящий ежегодно,
Там у пруда, на бархате лугов,
Где обогнул залив голубоводный
Зеленый скат лесистых берегов? —
Луна взошла, древа благоухали,
Зефир весны струил ночную тень,
Костер пылал – мы долго пировали
И, бурные, приветствовали день!
Товарищи! не правда ли? на пире
Не рознил вас лирический поэт?
А этот пир не наобум воспет,
И вы моей порадовались лире!..
Нет, не для вас! – Она меня хвалила,
Ей нравились разгульный мой венок,
И младости заносчивая сила,
И пламенных восторгов кипятков.
Когда она игривыми мечтами,
Радушная, преследовала их,
Когда она, веселыми устами,
Мой счастливый произносила стих —
Торжественна, полна очарованья,
Свежа, и где была душа моя!
О, прочь мои грядущие созданья,
О, горе мне, когда забуду я
Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В люющемся кристалле разговора.
Ее уж нет! Все было в ней прекрасно!
И тайна в ней великая жила,
Что юношу стремил самовластно
На видный путь и чистые дела;
Он чувствовал: возвышенные блага
Есть на земле! – Есть целый мир труда
И в нем – надежд и помыслов отвага
И бытие привольное всегда!
Блажен, кого любовь ее ласкала,
Кто пел ее под небом лучших лет...
Она всего поэта понимала —
И горд, и тих, и трепетен поэт
Ей приносил свое боготворенье;
И радостно, во имя божества,
Сбирались в хор созвучные слова!

Как фимиам, горело вдохновенье!¹⁵⁴

Не знаю, успел ли я выразить ясно мои мысли, говоря о господствующем направлении Языкова, но если я был столько счастлив, что читатели мои разделили мое мнение, то мне не нужно продолжать более. Определив характер поэзии, мы определили все, ибо в нем заключаются и ее особенные красоты, и ее особенные недостатки. Но пусть, кто хочет, приискивает для них соответственные разряды и названия – я умею только наслаждаться и, признаюсь, слишком ленив для того, чтобы играть словами без цели, и столько ожидаю от Языкова в будущем, что не могу в настоящих недостатках его видеть что-либо существенное.

Теперь, судя по некоторым стихотворениям его собрания, кажется, что для поэзии его уже занялась заря новой эпохи. Вероятно, поэт, проникнув глубже в жизнь и действительность, разовьет идеал свой до большей существенности. По крайней мере, надежда принадлежит к числу тех же чувств, которые всего сильнее возбуждаются его стихотворениями; и если бы поэзии его суждено было остаться навсегда в том кругу мечтательности, в каком она заключалась до сих пор, то мы бы упрекнули в этом судьбу, которая, даровав нам поэта, послала его в мир слишком рано или слишком поздно для полного могучего действия, ибо в наше время все важнейшие вопросы бытия и успеха таятся в опытах действительности и в сочувствии с жизнью общечеловеческою, а потому поэзия, не проникнутая существенностью, не может иметь влияния, довольно обширного на людей, ни довольно глубокого на человека.

Впрочем, если мы желаем большего развития для поэзии Языкова, то это никак не значит, что бы мы желали ей измениться; напротив, мы повторяем за ним – и в этом присоединяется к нам все, кто понимают поэта и сочувствуют ему, – мы повторяем от сердца за него его молитву к Провидению:

Пусть, неизменен, жизни новой
Придет к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!¹⁵⁵

§ 10. Обзорение современного состояния литературы¹⁵⁶

<Статья первая>

Было время, когда говоря «словесность» разумели обыкновенно изящную литературу, в наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности. Потому мы должны предупредить читателей, что, желая представить современное состояние литературы в Европе, мы поневоле должны будем обращать внимание на произведения философские, исторические, филологические, политико-экономические, богословские и т. п., чем собственно на произведения изящные.

Может, от самой эпохи так называемого возрождения науки в Европе никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, как теперь, особенно в последние годы нашего вре-

¹⁵⁴ И. В. Киреевский приводит стихотворение Н. Языкова «Воспоминание об А. А. Воейковой» (1831). – *Сост.*

¹⁵⁵ Неточная цитата из стихотворения Н. Языкова «Молитва» (1825); вторая строка у Языкова: «Приду к таинственным вратам». – *Сост.*

¹⁵⁶ Написано в 1845 г. Первая публикация: Москвитянин. 1845. № 1–3. Состоит из трех статей. Ст. 1 – № 1. Отд. Критика. С. 1–28. Ст. 2 – № 2. Отд. Критика. С. 56–78. Ст. 3 – № 3. Отд. Критика. С. 18–30. Вторая и третья статьи даны под заголовком «Обзорение современного состояния литературы». – *Сост.*

мени, хотя, может быть, никогда не писалось так много во всех родах и никогда не читалось так жадно все, что пишется. Еще XVIII век был по преимуществу литературный, еще в первой четверти XIX века чисто литературные интересы были одной из пружин умственного движения народов, великие поэты возбуждали великие сочувствия; различие литературных мнений производили страстные партии, появление новой книги отзывалось в умах как общественное дело. Но теперь отношение изящной литературы к обществу изменилось, из великих всеувлекающих поэтов не осталось ни одного, при множестве стихов и, скажем еще, при множестве замечательных талантов – нет поэзии, незаметно даже ее потребности, литературные мнения повторяются без участия, прежнее магическое сочувствие между автором и читателем превратилось, из первой блистательной роли изящная словесность сошла на роль наперсницы других героинь нашего времени, мы читаем много, читаем больше прежнего и все, что попало, но все мимоходом, без участия, как чиновник прочитывает входящие и исходящие бумаги. Читая, мы не наслаждаемся, еще меньше можем забыть, но только принимаем к соображению, ищем извлечь применение, пользу, и тот живой, бескорыстный интерес к явлению чисто литературным, та отвлеченная любовь к прекрасным формам, то наслаждение стройностью речи, то упительное самозабвение в гармонии стиха, какое мы испытали в нашей молодости, – молодое поколение будет знать о нем разве что по преданию.

Говорят, что этому надобно радоваться, что литература потому заменилась другими интересами, что мы стали дельнее, что если прежде мы гонялись за стихом, за фразой, за мечтою, то теперь ищем существенности, науки, жизни. Не знаю, справедливо ли это, но, признаюсь, мне жаль прежней, не применяемой к делу, бесполезной литературы. В ней было много теплого для души, а что греет душу, то может быть не совсем лишнее для жизни.

В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. И не надобно думать, что характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями.

В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов, поэзия – в стихи на случай¹⁵⁷, история была отголоском прошедшего, старается быть и зеркалом настоящего и доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатой в пользу какого-нибудь современного воззрения, философия, при самых отвлеченных созерцаниях вечных истин, постоянно занята их отношением к текущей минуте, даже произведения богословские на Западе по большей части продолжают каким-нибудь посторонним обстоятельством внешней жизни. По случаю одного кельнского епископа¹⁵⁸ написано больше книг, чем по причине господствующего неверия, на которое так жалуется западное духовенство.

Впрочем, это общее стремление умов к событиям действительности, к интересам дня имеет источником своим не одни личные выгоды или корыстные цели, как думают некоторые. Хотя выгоды частные и связаны с делами общественными, но общий интерес к последним не из одного этого расчета. По большей части это просто интерес сочувствия. Ум разбужен и направлен в эту сторону. Мысль человекарослась с мыслью о человечестве. Это стремление

¹⁵⁷ Уже Гёте предугадал это направление и под конец своей жизни утверждал, что истинная поэзия есть поэзия на случай (*Gelegenheits-Gedicht*). Впрочем, Гете понимал это по-своему. В последнюю эпоху его жизни большая часть поэтических случаев, возбуждавших его вдохновение, были придворный бал, почетный маскарад или чей-нибудь день рождения. Судьба Наполеона и перевернутой им Европы едва оставила следы во всем собрании его творений. Гете был всеобъемлющий, величайший и, вероятно, последний поэт жизни индивидуальной, еще не сопрякнувшейся в одно с жизнью общечеловеческою. – И. К. Гете заметил: «Все мои стихи – стихи по поводу, они навеяны действительностью...» (Эккерман И. П. Разговоры с Гете. Ч. 1. 1836). – *Сост.*

¹⁵⁸ Архиепископ Кёльна Клементий Август (барон фон Дросте Фишеринг) протестовал против постановления прусского правительства, разрешающего браки между католиками и протестантами, за что был смещен и арестован (1837). Этот конфликт привлек внимание прессы. – *Сост.*

любви, а не выгоды¹⁵⁹. Он хочет знать, что делается в мире, в судьбе ему подобных, часто без отношения к себе. Он хочет знать, чтобы только участвовать мыслию в общей жизни, сочувствовать ей изнутри своего ограниченного круга.

Несмотря на то, однако, кажется, не без основания жалуются многие на это излишнее уважение к минуте, на этот всепоглощающий интерес к событиям дня, к внешней, деловой стороне жизни. Такое направление, думают они, не обнимает жизни, но касается только ее наружной стороны, ее несущественной поверхности. Скорлупа, конечно, необходима, но только для сохранения зерна, без которого она свищ; может быть, состояние умов понятно как состояние переходное, но бессмыслица как состояние высшего развития. Крыльцо к дому хорошо как крыльцо, но если мы расположимся на нем жить, как будто оно весь дом, тогда нам оттого может быть и тесно, и холодно.

Впрочем, заметим, что вопросы собственно политические, правительственные, которые так долго волновали умы на Западе, теперь уже начинают удаляться на второй план умственных движений, и хотя при поверхностном наблюдении может показаться, что они еще в прежней силе, потому что по-прежнему еще занимают большинство голов, но это большинство уже отсталое, оно уже не составляет выражения века, передовые мыслители решительно преступили в другую сферу, в область вопросов общественных, где первое место уже занимает не внешняя форма, но сама внутренняя жизнь общества вся в действительных, существенных отношениях.

Излишним считаю оговариваться, что под направлением к вопросам общественным я разумею не те уродливые системы, которые известны в мире более по шуму, ими произведенному, чем по смыслу своих недодуманных учений: эти явления любопытны только как признак, а сами по себе несущественны. Нет интерес к вопросам общественным, заменяющий прежнюю, исключительно политическую заботливость, вижу я не в том или другом явлении, но в целом направлении литературы европейской.

Умственные движения на Западе совершаются теперь с меньшим шумом и блеском, но очевидно имеют более глубины и общности. Вместо ограниченной сферы событий дня и внешних интересов мысль устремляется к самому источнику всего внешнего, к человеку, как он есть, и к его жизни, как она должна быть. Дельное открытие в науке уже более занимает умы, чем пышная речь в Камере¹⁶⁰. Внешняя сторона судопроизводства кажется менее важной, чем внутреннее развитие справедливости, живой дух народа существеннее его наружных устрое-ний. Западные писатели начинают понимать, что под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все, и потому в мысленной заботе своей стараются перейти от явления к причине, от формальных внешних вопросов хотят возвыситься к тому объему идеи общества, где и минутные события дня, и вечные условия жизни, и политика, и философия, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религия, и вместе с ними словесность народа сливаются в одну необозримую задачу: усовершенствование человека и его жизненных отношений.

Но надобно признаться, что, если частые литературные явления имеют оттого более значительности и, так сказать, более *соку*, зато литература в общем объеме своем представляет странный хаос противоречащих мнений, несвязных систем, воздушных разлетающихся теорий, минутных, выдуманных верований и в основании всего совершенное отсутствие всякого убеждения, которое могло бы назваться не только общим, но хотя господствующим. Каждое новое усилие мысли выражается новою системою, каждая новая система, едва рождаясь, сразу уничтожает все предыдущее и, уничтожая их, сама умирает в минуту рождения, так что, бес-

¹⁵⁹ По поводу этих суждений И. В. Киреевского А. И. Герцен писал в статье «“Москвитянин” и вселенная»: «Какое глубокое понимание! Вот когда бы истые славяне умели подобным образом понимать явления, тогда хульные слова на Европу не так легко произносились бы ими» (Герцен А. И. Собр. соч.: в 30-то т. М., 1954. Т. 2. С. 138). – *Сост.*

¹⁶⁰ Имеется в виду палата депутатов в парламенте. – *Сост.*

престанно работая, ум человеческий не может успокоиться ни на одном добытом результате, постоянно стремясь к построению какого-то великого, заоблачного здания, нигде не находит опоры, чтобы утвердить хотя бы один первый камень для нешатающегося фундамента.

Оттого во всех сколько-нибудь замечательных произведениях словесности, во всех важных явлениях мысли на Западе, начиная с новейшей философии Шеллинга и оканчивая давно забытой системой сенсимонистов¹⁶¹, обыкновенно находим мы две различные стороны: одна почти всегда возбуждает сочувствие в публике и часто заключает в себе много истинного, дельного и двигающего вперед мысль, это сторона *отрицательная*, полемическая, опровержение систем и мнений, предшествовавших излагаемому убеждению; другая сторона, если иногда и возбуждает сочувствие, то почти всегда ограниченное и скоро проходящее: эта сторона *положительная*, то есть именно та, что составляет особенность новой мысли, ее сущность, ее право на жизнь за пределами первого любопытства.

Причина такой двойственности западной мысли очевидна. Доведя до конца свое прежнее десятивековое развитие, новая Европа пришла в противоречие с Европой старой и чувствует, что для начала новой жизни ей нужно новое основание. Основание жизни народной есть убеждение. Не находя готового, соответствующего ее требованиям, западная мысль пытается создать себе убеждение усилием, изобрести его, если можно, напряжением мышления, но в этой отчаянной работе, во всяком случае любопытной и поучительной, до сих пор еще каждый опыт был только противоречием другого.

Многомыслие, разноречие кипящих систем и мнений при недостатке одного общего убеждения не только раздробляет самосознание общества, но необходимо должно действовать и на частного человека, раздвояя каждое живое движение его души. Оттого, между прочим, в наше время так много талантов и нет ни одного истинного поэта. Ибо поэт создается силою внутренней мысли, из глубины души своей должен он вынести, кроме прекрасных форм, еще саму душу прекрасного, свое живое цельное воззрение на мир и человека. Здесь не помогут никакие искусственные устроения понятий, никакие разумные теории. Звонкая и трепещущая мысль его должна исходить из самой тайны его внутреннего, так сказать, надсознательного убеждения, и где это святилище бытия раздроблено разночтением верований или пусто их отсутствием, там не может быть речи ни о поэзии, ни о каком могучем воздействии человека на человека.

Это состояние умов в Европе довольно новое. Оно принадлежит последней четверти девятнадцатого века. Восемнадцатый век хотя был по преимуществу неверующий, но тем не менее имел свои горячие убеждения, свои господствующие теории, на которых успокаивалась мысль, которыми обманывалось чувство высшей потребности человеческого духа. Когда же за порывом упоения последовало разочарование в любимых теориях, тогда новый человек не выдержал жизни без сердечных целей: господствующим чувством его стало отчаяние, Байрон свидетельствует об этом переходном состоянии. Но чувство отчаяния по сущности своей только минутное. Выходя из него, западное самосознание распалось на два противоположных стремления. С одной стороны, мысль, не поддержанная высшими целями духа, упала на службу чувственным интересам и корыстным видам – отсюда промышленное направление умов, которое проникло не только во внешнюю общественную жизнь, но и в отвлеченную область науки, в содержание и форму словесности и даже в самую глубину домашнего быта, в святость семейных связей, в волшебную тайницу первых юношеских мечтаний. С другой стороны, отсутствие основных начал пробудило во многих сознание их необходимости. Самый недостаток убеждений произвел потребность веры. Но умы, искавшие веры, не всегда умели согласить ее западные формы с настоящим состоянием европейской науки. Оттого некоторые решительно отказались от последней и объявили непримиримую вражду между верою и разумом, другие же,

¹⁶¹ Подразумевается учение Сен-Симона и его последователей Анфантена, Базара и др. – *Сост.*

стараясь найти их соглашение, или насилуют науку, чтоб втеснить её в западные формы религии, или хотя те самые формы религии преобразовать по своей науке, или, наконец, не находя на Западе формы, соответствующей их умственным потребностям, выдумывают себе новую религию без церкви, без Предания, без Откровения и без веры.

Границы этой статьи не позволяют нам изложить в ясной картине того, что есть замечательного и особенного в современных явлениях словесности Германии, Англии, Франции и Италии, где тоже загорается теперь новая, достойная внимания мысль религиозно-философская. В последующих номерах «Москвитянина» надеемся мы представить это изображение со всевозможным беспристрастием. Теперь же в беглых очерках постараемся обозначить в иностранных словесностях только то, что они представляют самого резко замечательного в настоящую минуту.

В Германии господствующее направление умов до сих пор остается преимущественно философское, к нему примыкает с одной стороны направление исторически-теологическое, которое есть следствие собственного, более глубокого развития мысли философской, а с другой – направление политическое, которое, кажется, по большей части надобно приписать чужому влиянию, судя по пристрастию замечательнейших писателей этого рода к Франции и ее словесности. Некоторые из этих немецких патриотов доходят до того, что ставят Вольтера как философа выше мыслителей германских.

Новая система Шеллинга¹⁶², так долго ожидаемая, так торжественно принятая, не согласовалась, кажется, с ожиданиями немцев. Его берлинская аудитория, где первый год его появления с трудом можно была найти место, теперь, как говорят, сделалась просторною. Его способ примирения веры с философией не убедил до сих пор ни верующих, ни философствующих. Первые упрекают его за излишние права разума и за тот особенный смысл, который он влагает в свои понятия о самых основных догматах христианства. Самые близкие друзья его видят в нем только мыслителя *на пути к вере*. «Я надеюсь, – говорит Неандер (посвящая ему новое издание своей церковной истории), – я надеюсь, что милосердый Бог скоро сделает Вас вполне нашим»¹⁶³. Философы, напротив того, оскорбляются тем, что он принимает как достояние разума догматы веры, не развитые из разума по законам логической необходимости. «Если бы система его была сама святая истина, – говорят они, – то и в таком случае она не могла бы быть приобретением философии, покуда не явится собственным ее произведением».

Этот, по крайней мере, наружный неуспех дела всемирно значительного, с которым соединилось столько великих ожиданий, основанных на глубочайшей потребности духа человеческого, смутил многих мыслителей, но вместе был причиною торжества для других. И те, и другие забыли, кажется, что новаторская мысль вековых гениев должна быть в разногласии с ближайшими современниками. Страстные гегельянцы, вполне довольствуясь системою своего учителя и не видя возможности повести мысль человеческую далее показанных им границ, почитают святотатственным нападением на самую истину каждое покушение ума развить философию выше теперешнего ее состояния. Но между тем торжество их при мнимой неудаче великого Шеллинга, сколько можно судить из философских брошюр, было не совсем основательное. Если и правда, что новая система Шеллинга в той особенности, в какой она была им изложена, нашла мало сочувствия в теперешней Германии, то, тем не менее, его опровержения прежних философий, и преимущественно Гегелевой, имело глубокое и с каждым днем более увеличивающееся действие. Конечно, справедливо и то, что мнения гегелианцев беспрестанно шире распространяются в Германии, развиваясь в приложениях к искусствам, литературе и всем наукам (включая еще наук естественных), справедливо, что они сделались даже почти

¹⁶² Речь идет о последнем этапе творческой деятельности Шеллинга – *философии мифологии и откровения*. См.: Наст. изд. Т. 1. Девятнадцатый век. – *Сост.*

¹⁶³ И. В. Киреевский приводит слова А. Неандера из его книги: «Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche» (Всеобщая история христианской религии и церкви). Zweite und verbesserte Auflage. Bd. 1. Hamburg, 1842. — *Сост.*

популярными, но зато многие из первоклассных мыслителей уже начали сознавать недостаточность этой формы любомудрия и ясно чувствуют потребности нового учения, основанного на высших началах, хотя и не ясно еще видят, с какой стороны можно им ожидать ответа на эту незаглушимую стремящегося духа потребность. Так по законам вечного движения человеческой мысли, когда новая система начинает спускаться в низшие слои образованного мира, в то самое время передовые мыслители уже сознают ее неудовлетворительность и смотрят вперед, в ту глубокую даль, в голубую беспредельность, где открывается новый горизонт их зоркому предчувствию.

Впрочем, надобно заметить, что слово «гегельянство» не связано ни с каким определенным образом мыслей, ни с каким постоянным направлением. Гегельянцы сходятся между собой только в методе мышления и еще более в способах выражения, но результаты их методы и смысл выражаемого часто совершенно противоположны. Еще при жизни Гегеля между ним и Гансом, гениальнейшим из его учеников, было совершенное противоречие в применяемых выводах философии. Между другими гегельянами повторяется то же разногласие. Так, например, образ мыслей Гегеля и некоторых из его последователей доходил до крайнего аристократизма, между тем как другие гегельянцы проповедуют самый отчаянный демократизм, были даже некоторые, выводившие из тех же начал учение самого фанатического абсолютизма. В религиозном отношении иные держатся протестантизма в самом строгом, древнем смысле этого слова, не отступая не только от понятия, но даже от буквы учения, другие, напротив того, доходят до самого нелепого безбожия. В отношении искусства сам Гегель начал с противоречия новейшему направлению, оправдывая романтическое и требуя чистоты художественных родов, гегельянцы остались и теперь при этой теории, между тем как другие проповедуют искусство новейшее в самой крайней противоположности романтическому при самой отчаянной неопределенности форм и смешанности характеров. Так, колеблясь между противоположными направлениями, — то аристократическая, то народная, то верующая, то безбожная, то романтическая, то новожизненная, то чисто прусская, то вдруг турецкая, то, наконец, французская, — система Гегеля в Германии имела различные характеры, и не только на этих противоположных крайностях, но и на каждой ступени их взаимного расстояния образовала и оставила особую школу последователей, которые более или менее склоняются то на правую, то на левую сторону. Потому ничто не может быть несправедливее, как приписывать одному гегельянцу мнение другого, как это бывает иногда и в Германии, но чаще в других литературах, где система Гегеля еще не довольно известна. От этого недоразумения большая часть последователей Гегеля терпит совершенно незаслуженные обвинения. Ибо естественно, что самые резкие, самые уродливые мысли некоторых из них всего скорее распространяются в удивленной публике как образец излишней смелости или забавной странности, и, не зная всей гибкости Гегелевой методы, многие невольно приписывают всем гегельянам то, что принадлежит, может быть, одному.

Впрочем, говоря о последователях Гегеля, необходимо отличать тех из них, которые занимаются приложением его методов к другим наукам, от тех, которые продолжают развивать его учение в области философии. Из первых есть некоторые писатели, замечательные силою логического мышления, из вторых же до сих пор неизвестно ни одного особенно гениального, ни одного, который бы возвысился даже до живого понятия философии, проник бы далее ее внешних форм и сказал бы хотя одну свежую мысль, не почерпнутую буквально из сочинений учителя. Правда, *Эрдман* сначала обещал развитие самобытное, но потом, однако, 14 лет сряду не устает постоянно переворачивать одни и те же общеизвестные формулы. Та же внешняя формальность наполняет сочинения *Розенкранца*, *Мишлета*, *Маргейнеке*, *Гото Ретчера* и *Габлера*, хотя последний, кроме того, еще переиначивает несколько направление своего учителя и даже самую его фразеологию или оттого, что в самом деле так понимает его, или, может быть, так хочет понять, жертвуя точностью своих выражений для внешнего блага всей школы. *Вер-*

дер пользовался некоторое время репутацией особенно даровитого мыслителя, покуда ничего не печатал и был известен только по своему преподаванию берлинским студентам, но, издав «Логику», наполненную общими местами и старыми формулами, одетых в изношенное, но вычурное платье с пухлыми фразами, он доказал, что талант преподавания еще не порука за достоинство мышления. Истинным, единственно верным и чистым представителем гегельянства остается до сих пор все еще сам Гегель, и один он, – хотя, может быть, никто более его самого не противоречил в применениях основному началу его философии.

Из противников Гегеля легко было бы высчитать многих замечательных мыслителей, но глубже и сокрушительнее других кажется нам, после Шеллинга, Адольф Тренделенбург – человек, глубоко изучивший древних философов и нападающий на методу Гегеля в самом источнике ее жизненности: в отношении чистого мышления к его основному началу¹⁶⁴. Но и здесь, как во всем современном мышлении, разрушительная сила Тренделенбурга находится в явном неравновесии с созидательной.

Нападения гербартианцев имеют, может быть, менее логической неодолимости, зато более существенного смысла потому, что на место уничтожаемой системы ставят не пустоту бессмыслия, от которой ум человеческий имеет еще более отвращения, чем физическая природа, но предлагают другую, уже готовую, весьма достойную внимания, хотя еще мало оцененную систему Гербарта¹⁶⁵.

Впрочем, чем менее удовлетворительности представляет философское состояние Германии, тем сильнее раскрывается в ней потребность религиозная. В этом отношении Германия теперь весьма любопытное явление. Потребность веры, так глубоко чувствуемая высшими умами, среди общего колебания мнений и, может быть, вследствие этого колебания обнаружилась там новым религиозным расстройством многих поэтов: образованием новых религиозно-художественных школ и более всего новым направлением богословия. Эти явления тем важнее, что они, кажется, только первое начало будущего сильнейшего развития. Я знаю, что обыкновенно утверждают противное, знаю, что видят в религиозном направлении некоторых писателей только исключение из общего господствующего состояния умов. И в самом деле оно исключение, если судить по материальному, числительному большинству так называемого образованного класса, ибо надобно признаться, что этот класс более чем когда-нибудь принадлежит теперь к самой левой крайности рационализма. Но не должно забывать, что развитие мысли народной исходит не из численного большинства. Большинство выражает только настоящую минуту и свидетельствует более о прошедшей, действовавшей силе, чем о наступающем движении. Чтобы понять направление, надобно смотреть не туда, где больше людей, но туда, где больше внутренней жизненности и где полное соответствие мысли вопиющим потребностям века. Если же мы возьмем во внимание, как приметно остановилось жизненное развитие немецкого рационализма, как механически он двигается в несущественных формулах, перебирая одни и те же истертые положения, как всякое самобытное трепетание мысли видимо вырывается из этих однозвучных оков и стремится в другую, теплейшую сферу деятельности, – тогда мы убедимся, что Германия пережила свою настоящую философию и что скоро предстоит ей новый, глубокий переворот в убеждениях.

Чтобы понять последнее направление ее лютеранского богословия, надобно припомнить обстоятельства, служившие поводом к его развитию.

¹⁶⁴ Ф. А. Тренделенбург доказывал, что Гегель в построении своей идеалистической системы (в «чистом мышлении») негласно использует понятие внешнего мира («основное начало»); тем самым выводимые Гегелем категории оказываются мимо самостоятельными. – *Сост.*

¹⁶⁵ <...> Думаем, что систему Гербарта ожидает новое значение на время философского междуцарствия в Германии. – *И. К.* Философская система И. Ф. Гербарта предполагала в человеке этическую и эстетическую потребность видеть мир целесообразным; эта потребность, по Гербарту, и доказывает существование Бога. – *Сост.*

В конце прошедшего и в начале настоящего века большинство немецких теологов было, как известно, проникнуто тем популярным рационализмом, который произошел из смешения французских мнений с немецкими школьными формулами. Направление это распространилось весьма быстро. *Землер* в начале своего поприща был провозглашен вольнодумным новопрофессором, но при конце своей деятельности и не переменив своего направления он же самый вдруг очутился с репутацией закостенелого старовера и гасильника разума. Так быстро и так совершенно изменилось вокруг него состояние богословского учения.

В противоположность этому ослаблению веры, в едва заметном уголке немецкой жизни сомкнулся маленький кружок людей, *напряженно верующих*, так называемых пиетистов¹⁶⁶, сближавшихся несколько с гернгутерами¹⁶⁷ и методистами¹⁶⁸.

Но 1812 год разбудил потребность высших убеждений во всей Европе, тогда, особенно в Германии, религиозное чувство проснулось опять в новой силе. Судьба Наполеона, переворот, совершившийся во всем образованном мире, опасность и спасение отечества, переназначение всех основ жизни, блестящие молодые надежды на будущее – все это кипение великих вопросов и громадных событий не могло не коснуться глубочайшей стороны человеческого самосознания и разбудило высшие силы его духа. Под таким влиянием образовалось новое поколение лютеранских теологов, которое естественно вступило в прямое противоречие с прежним. Из их взаимного противодействия в литературе, в жизни и в государственной деятельности произошли две школы: одна, в то время новая, опасаясь самовластия разума, держалась строго символических книг своего исповедания, другая позволяла себе их разумное толкование. Первая, противоборствуя излишним, по ее мнению, правам философствования, примыкала крайними членами своими к пиетистам; последняя, защищая разум, граничила иногда с чистым рационализмом. Из борьбы этих двух крайностей развилось бесконечное множество средних направлений.

Между тем несогласие этих двух партий в самых важных вопросах, внутреннее несогласие разных оттенков одной и той же партии, несогласие разных представителей одного и того же оттенка и, наконец, нападения чистых рационалистов, уже не принадлежащих к числу верующих, на все эти партии и оттенки вместе взятые, – все это возбудило в общем мнении сознание необходимости более основательного изучения Священного Писания, нежели как оно совершалось до того времени, и более всего необходимости твердого определения границ между разумом и верою. С этим требованием сошлось, и частью усилилось, новое развитие исторического и особенно филологического и философского образования Германии. Вместо того что прежде студенты университетские едва разумели по-гречески, теперь ученики гимназий начали вступать в университеты уже с готовым запасом основательного знания в языках латинском, греческом и еврейском. Филологические и исторические кафедры занялись людьми замечательных дарований. Богословская философия считала многих из видных представителей, но особенно оживило и развило ее блестящее и глубокомысленное преподавание *Шлейермахера*¹⁶⁹ и другое, противоположное ему, хотя не блестящее, но не менее глубокомысленное, хотя едва понятное, но, по какому-то невыразимому, сочувственному сцеплению мыслей удивительно увлекательное преподавание профессора *Дауба*. К этим двум системам

¹⁶⁶ Пиетизм – течение в немецком протестантизме (лютеранстве), представители которого (пиетисты) ставили внутреннее религиозное переживание верующего выше христианских догматов и обрядности. – *Сост.*

¹⁶⁷ Гернгутеры – богемские (или моравские) братья – религиозная секта, отделившаяся от католической церкви и требовавшая в нравственном и религиозном отношении возврата к временам раннего христианства; это отразилось в их проповеди «учения о справедливости». – *Сост.*

¹⁶⁸ Методисты – последователи методизма, разновидности протестантизма, отделившейся от англиканской церкви. Методисты во главе с Д. Уэсли боролись против религиозного индифферентизма и рационализма, отстаивая глубокую религиозную веру как средство совершенствования человека и спасения души. – *Сост.*

¹⁶⁹ В учении Шлейермахера религиозные и этические категории выводились из субъекта, что сочеталось с рационалистической интерпретацией Ветхого и Нового Заветов. – *Сост.*

примкнула третья, основанная на философии Гегеля. Четвертая партия состояла из остатков прежнего *брейтшнейдеровского популярного рационализма*¹⁷⁰. За ними начинались уже чистые рационалисты с голым философствованием без веры.

Чем ярче определялись различные направления, тем многостороннее обрабатывались частные вопросы, тем труднее было их общее соглашение.

Между тем сторона преимущественно верующих, строго держася своих символических книг, имела великую внешнюю выгоду над другими: только последователи Аугсбургского исповедания¹⁷¹, пользовавшегося государственным признанием вследствие Вестфальского мира, могли иметь право на покровительство государственной власти. Вследствие этого многие из них требовали удаления противомыслящих от занимаемых ими мест.

С другой стороны, эта самая выгода была, может быть, причиною их малого успеха. Против нападения мысли прибегать под защиту внешней силы для многих казалось признаком внутренней несостоятельности. К тому же в их положении была еще другая слабая сторона: самое Аугсбургское исповедание основалось на праве личного толкования. Допускать это право до XVI века и не допускать его после – для многих казалось другим противоречием. Впрочем, от той или другой причины, но рационализм, приостановленный на время и не побежденный усилиями законно верующих, стал снова распространяться, действуя теперь уже с удвоенной силой, укрепившись всеми приобретениями науки, покуда, наконец, следуя неумолимому течению силлогизмов, оторванных от веры, он достиг самых крайних, самых отвратительных результатов.

¹⁷⁰ Имеется в виду теолог К. Г. Брейтшнейдер, который с рационалистических позиций оспаривал подлинность Евангелия от Иоанна и с тех же позиций излагал христианскую догматику в книге «*Handbuch der Dogmatik der evangelischen Kirche*» (Руководство по догматике евангельской церкви. 1838). – *Сост.*

¹⁷¹ Аугсбургское исповедание – изложение основ лютеранства, составленное сподвижником М. Лютера Ф. Меланхтоном и представленное для утверждения на Аугсбургском рейхстаге (1530). – *Сост.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.